

18+

Владимир Симиенко

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕВИАФАНА

Биологические и интеллектуальные
источники социальной власти



Владимир Симиненко

**Происхождение
Левиафана. Биологические
и интеллектуальные
источники социальной власти**

«Издательские решения»

Симиненко В.

Происхождение Левиафана. Биологические и интеллектуальные источники социальной власти / В. Симиненко — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Почему люди, объединяясь ради безопасности
и свободы, создают структуры, которые затем начинают управлять ими?
Книга прослеживает происхождение социальной власти от биологических
потребностей и устройства человеческого интеллекта до государства,
корпорации и цифровой платформы.

© Симиненко В.

© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Часть I. Биологические источники социальной власти	9
Катастрофа рождения	10
Постановка проблемы	10
Потерянный рай	14
Первая ошибка предсказания	15
Вечный зазор между идеальной моделью и реальностью	18
Ответ на возможные возражения	20
Базовое стремление к контролю	22
Мозг как предиктивная машина	22
Нейрохимия стремления к контролю	23
Базовые эмоциональные системы, обеспечивающие контроль	26
Два вектора стремления к контролю	27
Краткое описание цивилизации	28
Нейрофизиология социальности	29
Симбиозы как стратегия выживания	32
Внешние расширения человека	33
Симбиоз как стратегия	36
Масса как реализация стратегии симбиоза	37
Разновидности симбиоза. Анимизм, фетишизм, реификация	39
Тепло холодных чудовищ	41
Организационный материализм	43
Рождение социального мира	45
Основной закон социального мира	49
Воля к власти: переопределение понятия	52
Два способа властвовать	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Происхождение Левиафана Биологические и интеллектуальные источники социальной власти

Владимир Симиненко

© Владимир Симиненко, 2026

ISBN 978-5-0070-9758-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Человек стремится удовлетворять свои потребности и желания, но не способен делать это в одиночку. Для выживания, продолжения рода, защиты, познания и преобразования окружающего мира ему необходимы другие люди. Он вступает с ними в отношения сотрудничества и конфликта, обмена и принуждения, доверия и зависимости. Все эти взаимодействия суть отношения власти, порождающие конкретные организационные технологии.

Майкл Манн¹ в своём исследовании источников социальной власти рассматривает социум как пересечение сетей властных отношений, посредством которых люди организуют совместную деятельность, мобилизуют ресурсы и достигают поставленных целей. Власть присутствует всюду, где люди воздействуют друг на друга и изменяют условия как собственных, так и чужих действий.

Манн фокусируется на организационных технологиях, на логистике власти как следствии властных отношений четырёх типов — военных, политических, экономических и идеологических, — но оставляет за пределами своего внимания вопрос об источниках власти в биологической и интеллектуальной природе человека. Поэтому настоящая книга может рассматриваться как пролог к концепции Манна. Нас интересует, почему взаимодействия людей порождают именно отношения власти и почему институты принимают именно такие формы. Как возможна социальная власть? Почему она неизбежна и почему именно она создаёт цивилизацию?

Основные идеи книги можно сформулировать так: коллектив есть результат инвестирования в коллективные усилия воли к власти каждого его участника; социум любого масштаба представляет собой институт коллективной власти; операции интеллекта материализуются в организационных технологиях, которые начинают управлять своими создателями.

До того как власть становится институтом, она существует как возможность, заключённая в устройстве самого человека. Её источники обнаруживаются в потребностях живого организма, ограниченности индивидуальных возможностей, зависимости от окружающей среды и необходимости согласовывать собственные действия с действиями других.

Но биологической зависимости недостаточно для объяснения конкретных форм власти. Человек организует совместную деятельность при помощи разума, посредством которого воспринимает и упорядочивает мир. Его мышление строит прогнозы, сокращает сложность, создаёт абстракции, распределяет внимание, закрепляет успешные решения и переносит их в новые обстоятельства. Оно производит альтернативы, сравнивает их, обнаруживает отклонения и создаёт порядок из множества локальных взаимодействий.

Вынесенные во внешний мир, эти интеллектуальные операции превращаются в организационные технологии. Прогнозирование получает форму права и планирования; сжатие информации — форму денег, статистики и документов; распределение внимания — форму повестки и отчётности; стабилизация — форму традиции, стандарта и института. Способы, посредством которых разум организует индивидуальный опыт, становятся способами организации совместной жизни.

Поэтому общественные институты не являются произвольными изобретениями, которые человеческий разум мог бы без ограничений заменить совершенно иными. Разнообразие исторических форм огромно, но все они создаются существом с определённым телом, устройством восприятия и способом мышления. Человек способен изменять организационные технологии, соединять их и перераспределять заключённую в них власть, однако не может действовать вне собственных биологических и интеллектуальных возможностей.

Настоящая книга посвящена этим предпосылкам социальной власти — не организационным формам как таковым, а условиям, из которых они возникают. Её задача состоит в том,

чтобы обнаружить в теле, психике и мышлении человека механизмы, превращающие взаимодействие во влияние, влияние — в устойчивое отношение, а отношение — в организацию.

Исторический материал здесь отступает на второй план. Конкретные формы идеологической, экономической, военной и политической власти требуют отдельного рассмотрения. Прежде необходимо ответить на исходный вопрос: что есть в самом человеке такого, что, вступая в отношения с другими, он снова и снова создаёт власть?

Я начну с нарочито обобщённой формулировки. Любой живой организм стремится уменьшить зависимость от внешних угроз и увеличить предсказуемость среды своего обитания. В этом смысле власть — это возможность и способность влиять на условия собственной жизни, делать их более безопасными, стабильными и комфортными. Чем в большей степени организм способен определять, что с ним произойдёт завтра, тем большей властью он обладает. В предельном виде власть означает полный контроль над обстоятельствами, хотя на практике такой контроль никогда не бывает абсолютным.

Многим такая оптика рассмотрения власти покажется странной. Можно ехидно заметить, что в таком случае власть существует и в муравейнике, и в группе деревьев. Мне остаётся лишь ответить, что там существуют отношения власти — доминирования, иерархии и управления, — но не человеческий социум.

Это всего лишь метод нисхождения от общего к специфическому или, наоборот, восхождения от физиологических нужд к самоактуализации. Общим для нас является биологическое существование, поэтому мы должны сначала выявить биологический аспект властных отношений и только затем разбирать их социальный аспект.

Если в максимально широком смысле власть определяется как способность контролировать обстоятельства существования, то социальная власть — как контроль над обстоятельствами жизни через управление поведением других людей посредством организационных технологий, а не только безусловных рефлексов господства и доминирования. Когда же мы фокусируем анализ на формах организации, то обнаруживаем, что все они соответствуют возможностям нашего интеллекта, а принципы мышления преобразуются в принципы организации. Способности нашего интеллекта организуют окружающий мир, превращая его в управляемое пространство с прогнозируемым будущим, и задают конструкции всех социальных институтов. Общая логика такова:

1. Человек стремится контролировать обстоятельства своего существования.
2. Наиболее эффективным способом такого контроля является коллектив.
3. Вступая в коллектив, человек неизбежно становится участником отношений как коллективной, так и дистрибутивной власти — в терминологии Майкла Манна.
4. Операции интеллекта материализуются в организационных технологиях, которые начинают управлять своими создателями.

Социальная власть возникает там, где речь идёт уже не об отношениях между организмом и окружающим миром, а об отношениях между людьми и коллективами. В этом случае власть можно определить как способность одних социальных субъектов направлять поведение других с помощью организационных механизмов. Государства, партии, церкви, корпорации, армии и другие коллективные структуры получают власть не потому, что физически сильнее каждого отдельного человека, а потому, что располагают инструментами координации, управления и контроля.

Поэтому социальная власть — это способность отдельных групп и организаций контролировать действия других людей и коллективов посредством социальных технологий, институтов и организационных средств. Такими средствами могут быть законы, бюрократия, образование, деньги, информация, традиции, авторитет, идеология или принуждение. Чем эффективнее организация управляет поведением других, тем большей социальной властью она обладает.

Сформулируем ещё раз: власть вообще — это контроль над обстоятельствами жизни, а социальная власть — контроль над обстоятельствами жизни людей через управление другими людьми. В первом случае объектом воздействия выступает среда существования, во втором — социальные отношения и человеческое поведение.

Часть I. Биологические источники социальной власти

Катастрофа рождения

Постановка проблемы

Идея, что наше рождение оставляет в психике неизгладимый след, появилась в науке столетиями назад и с тех пор не получила ни успешного признания, ни окончательного опровержения. Главное препятствие — её принципиальная нетестируемость.

В 1924 году Отто Ранк опубликовал книгу «Травма рождения»². Её тезис был дерзким для того времени: первичный источник всякой тревоги — не Эдипов конфликт³, не подавленная сексуальность, а событие появления на свет. Разрыв с утробой — первое и самое глубокое переживание утраты, по отношению к которому выстраивается вся последующая жизнь психики. Ранк разбирал мифологические и религиозные образы возвращения — рай, океаническое единство мистических традиций, лоно как архетипическое убежище — и видел в них следы одного и того же переживания, стремления вернуться к тому состоянию, которое существовало до разрыва.

Станислав Гроф⁴ пошёл дальше. На основе тысяч сеансов с психоделическими веществами и холотропным дыханием⁵ он описал четыре «базовые перинатальные матрицы»⁶ — устойчивые психические паттерны, соответствующие фазам внутриутробного существования и родов. Первая матрица — симбиотическое единство с матерью, переживаемое как океаническое блаженство без границ, нужды и угрозы. Гроф связывал активацию этой матрицы с мистическими переживаниями слияния и с образами изначального совершенства в религиозных традициях.

Политических утопий он в этом контексте не рассматривал, но соответствующий вопрос неизбежно возникает. Что, если образ коллективного совершенства — бесклассового общества без нужды и принуждения — структурно воспроизводит симбиотическое единство с матерью? Эта интуиция требует обоснования механизма, посредством которого индивидуальный перинатальный паттерн транслируется в коллективный политический миф.

Индивидуальная психика хранит память о родах и использует этот первичный опыт как единственный доступный ей чертёж для проектирования любой сложной системы. Если первая матрица — это состояние бездефицитности, то утопия — это не просто политический проект, а когнитивная попытка мозга реконструировать это состояние в масштабах социума.

Работы Грофа богаты наблюдениями и бедны механизмами⁷. Он убедительно описывает, что происходит, но не объясняет, как. Использование изменённых состояний сознания в качестве метода закрыло перед ним двери академических институтов — не потому, что наблюдения были заведомо ложными, а потому, что их невозможно воспроизвести в стандартном экспериментальном протоколе.

Интуиция о том, что рождение учреждает психику, независимо воспроизводится в разных традициях и у разных поколений исследователей, и это уже само по себе требует объяснения. Первооткрыватели идеи рассматривали рождение как «событие-содержание» — травму, тогда как современный взгляд позволяет увидеть в нём «событие-настройку». Рождение — это момент катастрофического расхождения между внутренним прогнозом организма и внешним потоком данных. Здесь формируется базовая ошибка предсказания, которую психика будет пытаться минимизировать всю оставшуюся жизнь, в том числе посредством социального строительства.

Чтобы проверить тезис Ранка, нужна контрольная группа людей, которые не рождались, а её нет и не будет. Любой обнаруженный в нейронной архитектуре коррелят невозможно атри-

бутировать именно рождению, а не, скажем, первым неделям жизни или генетике. Нейробиология очень осторожна с утверждениями о причинах, которые нельзя воспроизвести экспериментально. Ранк — психоаналитик. Академическая же нейробиология в значительной мере списала психоанализ в архив как нефальсифицируемую систему. Идеи, пришедшие оттуда, несут на себе эту стигму независимо от их содержания.

Однако вряд ли кто станет оспаривать тот простой факт, что психологические интуиции, не соответствующие отдельным критериям научности, эффективно помогают реально страдающим людям.

Нейробиология комфортно работает на уровне нейронов, синапсов и сетей. Утверждение «рождение задаёт базовую перинатальную матрицу» — это уже переход на уровень нарратива и смысла. Между этими уровнями существует зазор, который пока никто не умеет надёжно закрыть. Нейробиолог скажет: покажите мне конкретную нейронную сеть, конкретный биомаркер — тогда и будет разговор. Ранк этого не давал, Гроф тем более.

Мы можем сослаться на нетривиальную позицию Роберта Сапольски⁸, который много писал о пренатальном программировании⁹. Эпигенетические метки, плотность глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе и порог срабатывания оси формируются до рождения¹⁰ — всё это темы лекций Сапольски. То есть принцип «пренатальный опыт задаёт архитектуру» для него — не спекуляция, а рутинная нейроэндокринология. Если это не реабилитация Ранка, то по меньшей мере реабилитация его проблематики. После работ Сапольски спрашивать о том, оставляет ли ранний внутриутробный опыт след в архитектуре психики, уже не значит выходить за пределы науки.

Здесь важно внести терминологическую ясность, чтобы не возникло путаницы. Мы будем различать *пренатальное программирование* и собственно *перинатальный опыт*. Под пренатальным программированием понимаются биологические настройки — плотность рецепторов, гормональный фон, — которые мозг получает ещё в утробе матери. Перинатальный опыт — это само событие рождения, катастрофический переход от внутриутробного покоя к хаосу внешнего мира. Если пренатальный период готовит «аппаратную часть» нашей психики, то перинатальный кризис становится первой критической ошибкой прогноза, которая запускает всю динамику человеческого самостроительства.

Если пренатальное программирование, по Сапольски, меняет порог чувствительности к стрессу у миллионов индивидов одновременно, например в периоды массового голода или войн, мы получаем не просто группу людей с похожими биографиями, а поколение с идентичным «настроечным профилем» социальных ожиданий. Так биологический фактор становится историческим вектором.

Мы предлагаем рассматривать перинатальный опыт не как мистическую тайну, а как первичную организационную структуру. Наша задача — превратить интуицию Ранка из «архивного психоанализа» в работающую модель, которая объясняет, почему человечество с такой настойчивостью воспроизводит одни и те же социальные иерархии и утопические ожидания. Если мы найдём этот «мост», история предстанет как процесс развёртывания биологически заданных алгоритмов.

Это ни в коем случае не является биологизаторством. Обычно социологам предъявляется претензия обратного рода. Говорят, например, что марксизму недостаёт модели человека, а отсюда следует ошибочность его прогноза о коммунизме. В прошлом веке постмодернисты и Франкфуртская школа пытались дописать за Маркса эту модель, создав множество любопытных и поучительных концепций. Но когда кто-то пытается пробросить теоретический мост между психикой и социумом, те же критики начинают рассуждать о биологизаторстве, о том, что человека лишают моральных принципов и свободы воли, независимых от мозга или образа жизни.

В общем и целом, прежде чем рассуждать о государствах и революциях, империях и кастах, необходимо решить, в рамках какой модели человека мы будем рассматривать эти вопросы. Полагаю, что искомую модель желательно сделать междисциплинарной, синтезирующей достижения экспериментальных нейронаук и дедуктивные интуиции психологии.

Почему люди вообще делают то, что делают? Почему они стремятся к богатству и власти, создают институты и разрушают их, подчиняются и бунтуют? Стандартные ответы — «такова человеческая природа», «так устроено общество», «люди хотят счастья» — ничего не объясняют, если они не подкреплены хорошо аргументированной теорией «человеческой природы». Они лишь подставляют вместо одного непонятного объяснения другое.

Эта книга предлагает взять за точку отсчёта социальной науки, за её начало координат, событие, которое каждый из нас пережил, но никто сознательно не помнит, — рождение и связанный с ним стресс, или травму рождения. Говорить об этом событии мы будем не метафорически, а опираясь на данные науки.

Конечно, «травма», «вытеснение», «стремление вернуться в утробу» — не эмпирические факты, а, скорее, научные метафоры, которые создают понимание, не обеспечивая экспериментального подтверждения. На языке естественных наук это называется не «травмой рождения», а пренатальным программированием стрессовой реактивности. Но это не обесценивает психоаналитическую метафору как эвристику, поскольку она могла ухватить феномен раньше, чем появился точный язык фактов для его строгого описания.

В социальных науках есть свои допущения и правила, которые не умаляют их научности. К тому же и естественные, и гуманитарные науки ныне сходятся в том, что любая теория — а гипотеза тем более — представляет собой не более чем объяснительную модель наблюдателя, а не истину, записанную в скрижалях природы. Это не релятивизм и не капитуляция перед неопределённостью. Это честная эпистемологическая позиция, которую разделяют самые строгие из учёных.

В социальных науках есть прецеденты обоснования теорий их объяснительной силой, а не лабораторной верификацией. При этом сохраняется требование, согласно которому модель должна объяснять больше, чем конкурирующие версии, и не противоречить установленным фактам, а не просто быть предъявлена как рамка. Именно это автору предстоит показать дальше.

Критерием смысла для меня служит не истинность в абсолютном смысле, а объяснительная сила при фиксированных условиях. Модель оправдана, если она связывает явления, которые иначе остаются несвязанными, и если можно указать, какие наблюдения потребовали бы её пересмотра. Второе условие не менее важно, чем первое.

Нейробиология, строго говоря, не опровергла Ранка — она обошла его стороной. Это разные вещи. Предиктивное кодирование¹¹ даёт теоретический язык, с помощью которого интуицию Ранка можно сформулировать без апелляции ни к изменённым состояниям сознания, ни к нефальсифицируемым конструктам. Это принципиально отличает данную теорию от предшествующих попыток нейробиологической реабилитации психоанализа. Она переопределяет то, что вообще можно утверждать и проверять, и открывает возможность проследить каузальную цепь от индивидуальной психики к коллективной истории, чего предшественники часто не делали.

Мост между нейрофизиологией индивида и социальной историей предсказуемо навлекает обвинения сразу в двух противоположных грехах.

Первый грех — редукционизм¹². Вам указывают, что вы сводите государство к психологии, империю — к нейрохимии, институт — к травме рождения, хотя между нейроном и парламентом лежат уровни, которые нельзя перескочить: экономика, технология, демография, экология. Парламент-де не сводится к дофамину. Второй, противоположный, грех — эмер-

джентизм¹³ дурного толка. Стоит признать, что социальное возникает на новом уровне и подчиняется собственным законам, несводимым к психологии, как весь нейробиологический фундамент становится декоративным.

На этой развилке буксует большинство попыток связать биологию и историю. Либо вы упрощаете социальное до психологического — и вас обвиняют в биологизаторстве, — либо признаёте автономию социального, после чего нейробиологический фундамент теряет смысл.

Пока достаточно нескольких наглядных примеров. Всюду, где действует человек, он решает одну и ту же базовую задачу: стремится сократить зазор между моделью и реальностью и установить контроль над обстоятельствами своего существования. Формы этого стремления различаются в зависимости от масштаба. Младенец тянется к груди, подросток дерётся за место в компании, политик борется за голоса, империя воюет за провинции. Содержание различно, структура одна.

Отсюда следует двойное утверждение, которое обычно считается невозможным. Да, социальное не сводится к нейрехимии, но лишь психика индивида делает возможным существование социального и определяет его ключевые свойства. Государство придаёт форму тем же базовым потребностям — в безопасности, принадлежности, статусе и контроле. Оно не создаёт новых мотиваций, но предоставляет прежним новые пространства для реализации и новые способы сцепления людей друг с другом.

Мост между нейрофизиологией индивида и социальной историей возможен. И там и там действует один и тот же человек с одной и той же задачей, которую он решает на уровнях возрастающей сложности.

Общая задача — показать, что социальная власть имеет антропологическое основание; что её формы различаются, но механика остаётся общей; что циклы политической истории объясняются не случайностями и заговорами, а тем, что каждое новое поколение приходит в мир с тем же биологическим капиталом, что и предыдущее. История человечества представляет собой накопление организационных технологий поверх неизменного антропологического фундамента. Понять это можно, лишь удерживая в анализе оба аспекта одновременно.

Потерянный рай

Девять месяцев человек существует в условиях, которые можно назвать идеальными не в этическом, а в техническом смысле. Внутриутробная среда поддерживает постоянную температуру на уровне 37 градусов. Питание поступает непрерывно через плаценту, и искать пищу не приходится. Чувство защищённости абсолютно. Амниотическая жидкость гасит механические удары, стенки матки отделяют плод от внешнего мира, а материнская иммунная система предохраняет его от инфекций. Звуки доходят приглушёнными, свет не проникает вовсе.

Ключевое свойство этого состояния — полное отсутствие необходимости прилагать усилия. Плод не должен напрягаться, чтобы получать всё необходимое. Нет голода, потому что питание не прерывается. Нет страха, потому что нет угрозы. Нет одиночества, потому что нет отдалённости от матери. Организм матери и организм плода работают как единая система, в которой всё, что требуется малой части, автоматически обеспечивается целым¹⁴.

Это описание рая? Нет. Это описание состояния, в котором расхождение между ожиданиями организма и реальностью минимально. «Рай», как его рисуют религии, и «коммунизм», как его воображают левые, — метафоры внутриутробного состояния, спроецированные на коллективное будущее¹⁵. Обе метафоры заключают в себе обещание преодолеть перинатальный разрыв, но теперь уже не для отдельного плода, а для всего человечества. Царство Божие и бесклассовое общество устроены по той же схеме, что и внутриутробное существование. В них нет нужды, труда, конфликта и даже смерти. Всё необходимое даётся само собой, а гармония обеспечена устройством самого мира.

С физиологической точки зрения рождение — катастрофа. Температура среды падает с 37 до 20—25 градусов. Для взрослого человека это ощущалось бы как падение в ледяную воду. Лёгкие, девять месяцев покоившиеся в жидкости, должны мгновенно раскрыться и начать втягивать воздух — вещество принципиально иной плотности¹⁶. Усилие, необходимое для первого вдоха, в пять раз превышает усилие при обычном дыхании. Младенцы кричат не от боли, а от чудовищного напряжения. Пуповину перерезают, и непрерывный поток питания обрывается. После девяти месяцев полутьмы яркий свет бьёт в глаза, ещё не защищённые веками. Звуки внешнего мира — голоса, лязг инструментов, гудение аппаратуры — обрушиваются уже без амортизации водной среды.

Физический шок, каким бы сильным он ни был, всё же не главное. Главное — разрыв между двумя состояниями существования. Симбиоз с матерью прекращается. Впервые возникает граница между организмом и средой. Впервые появляется нужда. Она принимает формы голода как отсутствия автоматического питания, холода как реальной угрозы и одиночества как потери физического контакта. Мир становится чуждым, внешним и непредсказуемым. Выживание впервые требует от человека собственного действия, которое никто не совершит вместо него.

Рождение — не просто «стресс», который переживается и забывается, как испуг или неудачный день. Это первый и самый глубокий опыт того, что реальность способна полностью, катастрофически расходиться с тем, «как должно быть». Этот опыт оказывается учредительным — он не исчезает из памяти, а сам становится её структурой, точкой отсчёта, относительно которой человек оценивает события начинающейся жизни.

Первая ошибка предсказания

Напрашивается очевидное возражение. Новорождённый ничего сознательно не помнит¹⁷. Никто из нас не может вызвать в памяти момент рождения, реконструировать его как событие. Как же перинатальный шок, не сохранившийся в памяти, может влиять на всю последующую жизнь? Ответ даёт современная нейробиология, меняющая смысл самого понятия памяти.

Мозг плода активен задолго до рождения¹⁸. Примерно к 28-й неделе беременности фиксируются устойчивые реакции на звуки, в частности на голос матери. К 32-й неделе появляются реакции на свет. Если направить яркий источник света на живот беременной, плод отворачивается. Вкус амниотической жидкости меняется в зависимости от того, что ест мать, и плод реагирует на эти изменения — заглатывает жидкость активнее, если вкус «приятен». Следовательно, сенсорные системы уже работают, обрабатывают информацию и формируют предпочтения.

Нейронные связи выстраиваются с огромной скоростью. В пиковые периоды внутриутробного развития образуется примерно 250 тысяч нейронов в минуту¹⁹. Нейроны мигрируют в нужные области мозга, выпускают аксоны и дендриты, образуют синапсы. Конфигурация этих связей зависит от того, какие сигналы поступают извне. Мозг учится ещё в утробе, и все последующие нейросети будут надстройками над этой первичной сетью.

Новорождённые узнают голос матери и предпочитают его всем остальным голосам²⁰. Если беременная женщина регулярно слушала определённую мелодию, младенец успокаивается, услышав её вновь. В первые дни жизни груднички лучше различают фонемы родного языка, чем фонемы чужих языков. Языковая среда воспринималась и обрабатывалась ещё до рождения. Обучение — то есть формирование нейронных паттернов на основе сенсорного опыта — происходит задолго до того, как ребёнок выходит в мир.

Современная теория предиктивного кодирования предлагает своеобразное объяснение работы психики. Мозг — не пассивный приёмник информации, который лишь регистрирует сигналы и реагирует на них. Мозг — машина прогнозирования, активная система, опережающая реальность.

Работает это так. Мозг постоянно строит внутренние модели мира — представления о том, каким он должен быть и что произойдёт в следующий момент. Когда поступает новый сигнал, мозг сравнивает его с предсказанием. Если сигнал совпадает с предсказанием, можно продолжать действовать. Если же он расходится с ним, возникает ошибка предсказания. Это сигнал тревоги и требование обновить модель мира или изменить поведение.

Вся активность мозга, согласно теории предиктивного кодирования, направлена на то, чтобы свести ошибки предсказания к минимуму. Мозг либо обновляет внутреннюю модель, чтобы она лучше соответствовала реальности, либо инициирует действие, изменяющее реальность в соответствии с моделью. Эти два процесса — две стороны одного и того же. Мы постоянно пытаемся либо понять мир, либо переделать его.

Первая предиктивная модель формируется на основе внутриутробного опыта. Она не формулируется словами, не существует в виде явного образа или воспоминания, но действует. Она записана в архитектуре нейронных связей и утверждает, что мир стабилен, температура постоянна, питание непрерывно, опасности нет, а усилия не требуются. Всё необходимое обеспечивается само собой.

Рождение — масштабное опровержение базовой модели²¹. Это ошибка предсказания такого калибра, что простым обновлением модели не обойтись, поскольку одновременно изменилось всё — температура, способ питания, характер среды, наличие контакта, степень защи-

щённости. Слишком много параметров рухнуло в один момент. Модель оказалась полностью несовместимой с новой реальностью.

Обновление модели всегда происходит локально. Корректируется тот параметр, который дал ошибку, остальные остаются нетронутыми. Так предиктивная машина работает в норме — посредством точечной подстройки, а не полной перезаписи. Первая же модель бытия никогда не обновлялась, поскольку существовала до первой ошибки, то есть до рождения, и не прошла ни одного цикла коррекции. Первая модель не стирается и не вытесняется более точной. Она становится фундаментом, исходной точкой, относительно которой оценивается всё последующее. Мы не помним утробу сознательно и не можем её описать. Но наш мозг откалиброван относительно неё. Внутриутробная модель мира — нулевая точка, от которой отсчитывается всё остальное.

Удобная аналогия — операционная система компьютера. Прикладные программы не «видят» её кода и работают с ней посредством интерфейсов, не имея прямого доступа к этому коду. Тем не менее они полностью от неё зависят. Если операционная система задаёт определённые правила работы с памятью и файлами, все приложения вынуждены им следовать.

Каждая версия модели сохраняется до следующей значимой ошибки предсказания — до момента, когда реальность расходится с ожиданием настолько, что точечной коррекцией уже не обойтись. Тогда версия 1.1 становится версией 1.2. Но все эти версии — надстройки над одним и тем же фундаментом 1.0. Патчи меняют поведение системы, но не переписывают её ядро.

Психология накопила достаточно наблюдений, чтобы описать, как перинатальное ядро обрастает последующими обновлениями. Зигмунд Фрейд представил развитие ребёнка как последовательность стадий — оральной, анальной и фаллической²³. В рамках предиктивной логики это деление приобретает неожиданное применение. Тело становится источником первых серьёзных ошибок предсказания. При отлучении от груди питание, которое всегда было тёплым и поступало немедленно, вдруг исчезает. Модель 1.0 даёт сбой, и система обновляется до версии 1.1. При приучении к горшку оказывается, что собственное тело не полностью находится в твоей власти, а общество предъявляет к нему требования. Запускается версия 1.2.

Эрик Эриксон²⁴ добавил к этому общественное измерение. Первый день в детском саду, школа, подростковый кризис — каждый из этих переходов становится моментом, когда действующая версия модели перестаёт справляться с реальностью. Джон Боулби²⁵ показал, что разлучение с матерью даже на короткое время для младенца — не обычное неудобство, а крушение базового предсказания. Система экстренно перезаписывает этот параметр. Каждая такая точка бифуркации²⁶ в нашей жизни отмечает момент, когда мир перестаёт вести себя так, как предписывала ему модель.

Русская физиологическая школа нашла для этого механизма точное слово. Иван Сеченов²⁷ доказывал, что мозг не ограничивается реакцией на раздражители. Он активно тормозит одни реакции, пропуская другие. Старые паттерны не исчезают — они подавляются. Пласт жизни не стирается, а уходит под следующий пласт.

Алексей Ухтомский²⁸ пошёл дальше и ввёл понятие доминанты — устойчивого очага возбуждения, который притягивает к себе всю остальную нервную активность и переформирует под себя поступающие стимулы. Разумеется, механизм, описанный Ухтомским, отличается от механизма теории предиктивного кодирования. Но функциональный результат в обоих случаях описан сходным образом. Господствующий паттерн не вытесняется новыми раздражителями, а ассимилирует их. Эти два описания можно считать взаимодополняющими. Одно задаёт вероятностную архитектуру ожиданий, другое объясняет устойчивость активационных приоритетов. В таком случае перинатальная конфигурация выступает кандидатом на роль первой и наиболее укоренённой доминанты. Она сформировалась раньше всех осталь-

ных, в период максимальной нейропластичности²⁰, и любой последующий опыт встречает уже организованное поле.

Человек, переживший сильный стресс, начинает буквально видеть мир сквозь его призму — доминанта²⁹ фильтрует реальность. Версия 1.1 не заменяет версию 1.0, а становится новой доминантой поверх старой, пока следующий стресс не запустит очередное обновление.

Вечный зазор между идеальной моделью и реальностью

Из сказанного следует вывод, который определяет наше понимание психики и, как станет ясно далее, социальной истории.

После рождения базовая модель, согласно которой мир безопасен, стабилен, насыщен и не требует усилий, уже никогда не совпадает с реальностью. Внешний мир отныне содержит неопределённость, нехватку и угрозу и всегда требует того или иного действия, хотя бы в форме сознательного бездействия. Питание не поступает само — его нужно добывать. Температура колеблется, защита не бывает абсолютной. Чтобы выжить, необходимо двигаться, искать, сопротивляться.

Пока существует внешний мир, он будет оставаться неопределённым и требующим усилий. Зазор между первичным неявным ожиданием — мир устроен так, что усилия излишни, — и актуальным опытом — мир устроен так, что без усилий не выжить, — неустраним. Вернуться в утробу невозможно. Невозможно и изменить базовую модель, записанную в архитектуре мозга в период максимальной нейропластичности³⁰. Новые этажи жизни надстраиваются поверх фундамента. Никакой психотерапевт не способен добраться до нижних слоёв психики и распутать нейронные сети до первых узоров.

Любая модификация первичной модели порождает её новую версию. Эта версия становится господствующей и задаёт новые предсказания, но они действуют лишь до первой значимой ошибки. Поэтому перемены всегда становятся для нас источником стресса.

Зазор создаёт непрекращающееся напряжение. Это напряжение не патологическое, а неотъемлемое. Оно служит не признаком болезни или травмы, а условием существования. Напряжение представляет собой разницу между предсказанием и реальностью, между тем, «как должно быть», и тем, «как есть». Пока существует разница, сохраняется и напряжение. А разница существует всегда.

Без этого напряжения нет мотивации к действию. Полное совпадение модели и реальности — термодинамическое равновесие, которое для живого организма означает смерть. Организм, ожидания которого идеально совпадали бы с реальностью, не имел бы оснований действовать: нет рассогласования — нет сигнала к движению, поиску или изменению. Нулевая ошибка предсказания означает, по существу, нулевую мотивацию. С этой точки зрения постоянный зазор — не несчастье, от которого нужно избавиться, а структурное условие всякой деятельности живого существа. Работа возможна лишь там, где существует рассогласование.

Впрочем, напряжение не может бесконечно оставаться высоким. Оно требует разрядки. Организм, постоянно пребывающий в состоянии сильного напряжения, разрушается: нарушается работа надпочечников, повреждаются нейроны, страдает иммунная система. Поэтому избыточное напряжение должно сбрасываться.

Разрядка возможна только посредством действия, понимаемого широко. Это может быть физическое поведение, когнитивная перестройка или изменение интерпретации происходящего. Действием в данном случае становится всё, что снижает ошибку предсказания и делает мир хотя бы немного более похожим на то, каким он «должен быть» согласно базовой модели. Такое действие увеличивает предсказуемость мира и усиливает контроль над обстоятельствами.

Какова краткая формула фундаментальной динамики человеческого существования?

*перинатальная утрата пассивного контроля (рождение) →
постоянное напряжение (зазор между моделью и реальностью) →
стремление к активному контролю (действие, направленное на
минимизацию зазора).*

Это стремление к активному контролю над обстоятельствами существования мы называем в этой книге *волей к власти*³¹. Концептуально это понятие оправданно. Однако здесь мы вступаем на территорию, где у читателя неизбежно возникают негативные философские ассоциации. Поэтому понятие воли к власти требует осторожного истолкования.

Ответ на возможные возражения

Первое предсказуемое возражение звучит так: сводить религию и политические идеалы к биологии — значит обесценивать их моральное содержание. За образом Царства Божьего стоит реальная борьба с несправедливостью. За социалистической утопией — реальное страдание реальных людей. Объяснять всё это «тоской по плаценте» — значит не анализировать, а издеваться.

Возражение это кажется сильным, но держится на допущении, которое современная наука не поддерживает. Допущение таково: есть биология — и есть мораль, и это два разных «царства». Биологическое объяснение морального явления автоматически упраздняет его независимое этическое содержание. Но именно это разделение и есть ошибка. Это показал Роберт Сапольски на материале нескольких десятилетий нейробиологических, эндокринологических и приматологических исследований. Когда человек совершает моральный поступок — жертвует собой, защищает слабого, отказывается от выгоды ради принципа, — это одновременно и нейрехимия, и эволюционная история, и культурный контекст, и личная биография, и то, что сам человек называет свободным выбором. Всё это существует не вместо друг друга, а в одной неразрывной системе.

Редукция — это когда один уровень описания упраздняет другой. Здесь этого нет. Прослеживание связи между базовым переживанием и культурной формой его выражения — не редукция, а трассировка³². Испуганный человек не перестаёт быть испуганным оттого, что мы описали нейрехимию страха. Моральный идеал не перестаёт быть моральным оттого, что мы указали на его эмоциональный источник.

Рай и бесклассовое общество — не псевдонимы утробы и не сознательные метафоры, которые кто-то намеренно построил по её образцу. Это идеологические формы, в которые отлилось напряжение, неустрашимое после рождения. Образы структурно совпадают с утробным состоянием не потому, что их авторы думали о плаценте, а потому, что напряжение, которое они пытались снять словом и образом, имеет именно такую форму: нет нужды, угрозы, усилия, всё необходимое дано.

Рассуждение о том, что религия есть метафора воспоминания о «жизни до жизни», предполагает особое понимание метафоры. Здесь и везде в книге метафора понимается в лакоффовском смысле³³: не как риторический приём, а как бессознательная когнитивная структура, посредством которой организуется опыт³⁴. Мы не выбираем метафоры, которыми думаем, — они встроены в архитектуру мышления раньше, чем мышление успевает себя осознать.

Второе возражение: если базовая модель неизменна, человек обречён — никакого нравственного прогресса нет и быть не может. Но это возражение путает уровни анализа. Утверждение о неизменности базовой нейронной конфигурации относится к индивидуальному организму. Утверждение о нравственном прогрессе — к коллективной исторической динамике. Это не противоречие: это разные масштабы описания одной и той же реальности. Отмена рабства — факт коллективной моральной эволюции, и он совершенно не противоречит тому, что мозг каждого отдельного человека, в том числе аболициониста³⁵, был откалиброван в ходе перинатального перехода. Первое происходит на уровне институтов, норм и языка. Второе — на уровне нейронной архитектуры.

Третье возражение: если человек есть машина минимизации ошибки предсказания, откуда берётся самопожертвование — отказ от собственного контроля ради другого? Между тем вопрос поставлен в ложных координатах. Человек, для которого благополучие другого встроено в базовую модель мира, минимизирует ошибку именно тогда, когда жертвует собой.

Для матери, бросающейся под машину ради ребёнка, это не отказ от логики предсказания — это её прямая реализация.

Здесь важно зафиксировать, что остаётся вопросом: почему и как именно чужое благополучие занимает в иерархии моделей место выше собственного выживания. Ответ — посредством истории конкретного человека, привязанности, всего того, что записывалось в архитектуру с первых дней жизни, — принципиально небыстрый. Он не снимает вопрос, а указывает направление. Модель, которая утверждает «ребёнок в безопасности», важнее модели, которая утверждает «я в безопасности». Иерархия моделей — не данность природы, а результат всей истории конкретного человека. Биология задаёт архитектуру: спасение рода важнее спасения индивида. Что именно в неё записано, определяет жизнь.

Наконец, самое глубокое возражение — об упразднении свободы воли. Оно предполагает, что существует только одно её понимание: воля как беспричинная первопричина, как способность действовать вне любой детерминации. «Чего хочу, то и делаю». Именно в этом духе понимается воля в традиции, к которой апеллируют и критики детерминизма, и персонажи Достоевского.

Но это понимание само по себе требует защиты — и не получает её. Воля, выпадающая из любой причинно-следственной цепи, есть не свобода, а произвол. Хуже того, она необъяснима даже для самого субъекта: если мой выбор ничем не обусловлен, то он в равной мере не обусловлен и мной самим.

Второе понимание принципиально иное: воля погружена в систему — психологическую, социальную, биологическую — и именно посредством неё действует, а не вопреки ей. Свобода здесь — не отсутствие детерминации, а способность действовать из глубины собственной иерархии моделей, а не под давлением внешнего стимула. Человек, заслонивший чужого ребёнка, свободен не потому, что вышел за пределы своей истории, а потому, что в критический момент действовал из самого глубокого её ядра.

Базовое стремление к контролю

Мозг как предиктивная машина

Принцип свободной энергии³⁶, сформулированный Карлом Фристоном³⁷, утверждает: вся активность мозга, от простейших рефлексов до сложнейших интеллектуальных операций, направлена на сокращение неопределённости. Мозг устроен так, чтобы предсказывать мир как можно точнее. Чем точнее предсказание, тем меньше расхождение между ожиданием и реальностью и тем выше шансы на выживание.

Когда предсказание не сбывается и возникает ошибка, система должна на неё отреагировать. Игнорировать её нельзя, ибо накопление ошибок означает, что внутренняя модель реальности всё дальше расходится с самой реальностью, а это ведёт к гибели. Но реагировать можно двумя способами.

Первый — обновить внутреннюю модель. Изменить ожидания так, чтобы они лучше соответствовали реальности. Если я ожидал тепла, вышел без куртки и замёрз, я обновляю модель: в это время года на улице холодно. В следующий раз предсказание будет точнее. Фристон называет это перцептивным выводом³⁸. Это обучение как адаптация внутренних представлений к внешней реальности. Мир остаётся таким, какой он есть, а меняюсь я.

Второй способ — изменить реальность так, чтобы она соответствовала модели. Если я ожидал тепла, а на улице холодно, я могу надеть куртку или разжечь огонь. Ошибка предсказания не исчезает, но я сделал мир таким, каким ожидал его увидеть. Это активный вывод³⁹ — изменение мира в соответствии с собственными ожиданиями.

Оба процесса — обучение и действие — решают одну задачу: свести ошибку предсказания к минимуму. Иными словами, принять мир и приспособиться к нему либо переделать мир под себя.

Эти два способа соответствуют двум стратегиям существования, которые можно назвать «дорогой Гегеля»⁴⁰ и «дорогой Маркса»⁴¹. Гегелевская программа постижения разума в истории тяготеет к перцептивному полюсу, марксова программа переделки мира — к активному. Разумеется, ни тот, ни другой не сводится к одному из этих векторов: у Гегеля есть своя логика движения через противоречие, у Маркса — своя теория понимания как условия изменения. Но как контрастная пара двух жизненных стратегий — принять мир или переделать его под себя — эта пара имён работает.

Оба пути в равной мере являются стратегиями контроля. Решать проблему голода можно, отправившись на охоту, а можно, научившись обходиться меньшим. Справляться с тревогой можно, завоевав безопасное положение в мире, а можно с помощью медитативной практики, снижающей требовательность к миру. Европейская традиция, от Гомера до Ницше, часто приписывала второй путь, описывая его как слабость, пассивность, отсутствие воли. Но это моральная предвзятость, а не нейрофизиологический факт. С точки зрения механизма минимизации ошибки предсказания оба пути равнозначны и в равной мере требуют работы. Аскет, годами вырабатывающий безразличие к внешнему, совершает не меньший труд воли, чем завоеватель, покоряющий соседние земли. Просто вектор его воли направлен внутрь, а не наружу.

Нейрохимия стремления к контролю

Механизм предсказания, сравнения и коррекции реализован в биохимии. Его материал — нейромедиаторы⁴², рецепторы, электрические импульсы. Четыре молекулы показывают, как нейрохимия и контроль над обстоятельствами существования связаны между собой.

Дофамин принято называть «гормоном удовольствия» или «молекулой счастья». Популярная психология рисует следующую схему: приятное действие, награда, выброс дофамина, ощущение удовольствия. Современные исследования эту схему разрушили. Дофамин — молекула предвосхищения, а не удовольствия. Его запускает не сама награда, а её ожидание.

Система включается ещё до получения поощрения и решает, стоит ли игра свеч. Когда мы предсказываем результат и контролируем ситуацию, возникают мотивация и энергия. Когда контроль утрачен и усилия ни к чему не ведут, система отказывает. Это переживается как апатия, неспособность испытывать удовольствие, а в крайних случаях — как депрессия.

Для нас интересно состояние выученной беспомощности⁴³. В классическом эксперименте Мартина Селигмана⁴⁴ собак помещали в клетку и подвергали ударам тока, от которых невозможно было спастись. После нескольких сессий животных переносили в другую клетку, где достаточно было перепрыгнуть барьер, чтобы избежать тока. Однако собаки не пытались сделать это: они ложились и пассивно терпели боль. Они уже усвоили, что их действия ни на что не влияют, и это понимание их парализовало. По существу, это дисфункция дофаминовой системы. Если связь между действием и результатом разрушена, мозг перестаёт мотивировать к действию.

Человеческая депрессия во многих случаях выстроена по той же схеме. Хроническая неспособность контролировать важные обстоятельства жизни — безработицу, унижительные отношения, нищету, социальную изоляцию — порождает выученную беспомощность. Это состояние реализуется как дисфункция дофаминовой системы и переживается как утрата смысла и способности радоваться, которые нейробиология соотносит не с одним нейромедиатором, а с комплексом нарушений, включающим дофаминовую и норадреналиновую системы, а при затяжном течении — и нейровоспаление, и изменения в гиппокампе.

Кортизол и норадреналин⁴⁵ — гормоны стресса. Они выделяются, когда организм фиксирует угрозу или потерю контроля. Тело переходит в аварийный режим: сердце бьётся чаще, мышцы напрягаются, кровь насыщается глюкозой. Иммунная система временно подавляется. Долгосрочная защита от инфекций временно подавляется, потому что в данный момент она менее важна, чем немедленная реакция на угрозу. Пищеварение замедляется: в аварийном режиме оно уступает приоритет двигательным и сенсорным системам.

Острый стресс вызывает адаптивную реакцию. При встрече с хищником выброс кортизола и норадреналина даёт энергию для бегства или борьбы. Перед экзаменом тот же механизм мобилизует внимание студента. Работает механизм, отточенный миллионами лет эволюции.

Но хронически повышенный уровень кортизола — катастрофа для организма. Это признак того, что ошибка предсказания не устраняется, что система не может ни обновить модель — принять ситуацию, — ни изменить реальность — восстановить контроль. Длительный стресс буквально разрушает организм. Повреждаются нейроны гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение, истощается кора надпочечников, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, подавляется иммунитет, нарушается сон, ускоряется старение. Стресс — нейрохимический маркер утраты контроля. Не тяжесть обстоятельств определяет его уровень, а степень власти над ними. Человек с трудной работой, но с автономией в принятии решений, испытывает меньше стресса, чем тот, у кого работа легче, зато контроля нет никакого. Контроль — нейрофизиологическая необходимость, а не роскошь.

Серотонин⁴⁶ связан с ощущением статуса и положения в иерархии. У доминантных приматов его уровень в мозге значительно выше, чем у подчинённых. Если искусственно повысить уровень серотонина у низкоранговой особи, её поведение меняется. Она держится увереннее, проявляет инициативу. И другие особи начинают воспринимать её иначе и реагировать на неё как на более доминантную. Обратное тоже верно. Стоит доминантной особи утратить статус, как уровень серотонина у неё падает. Статус влияет на серотонин, но и серотонин влияет на поведение, которое определяет статус. Связь двунаправленная.

Статус в иерархии — это своего рода измерение степени социального контроля. Доминантная особь контролирует доступ к ресурсам: пище, партнёрам, безопасным местам. Она может прогнать, наказать, принудить других. Подчинённая особь избегает конфликтов и довольствуется остатками. Серотонин — биохимический маркер социального контроля. Он коррелирует с положением в иерархии, будучи встроенным в механизм, который это положение поддерживает или подрывает.

У людей картина сложнее. Мы не живём в стабильных иерархиях, как павианы; статус многомерен, а социальных контекстов множество. Но базовая связь сохраняется. Низкий социальный статус ассоциируется с более низким уровнем серотонина, повышенным риском депрессии и тревожных расстройств. Хронический опыт подчинённости и унижения — не просто неприятное переживание. Это нейрохимическая травма, которая меняет работу мозга.

Окситоцин⁴⁷ — молекула привязанности и доверия. Он выделяется при прикосновениях, объятиях, кормлении грудью. Тем самым он создаёт ощущение близости и принадлежности. Если повысить его уровень с помощью назального спрея, люди становятся доверчивее и охотнее соглашаются. Окситоцин — особая стратегия контроля. Это не прямое воздействие на мир и не доминирование, а связь с тем, кто обеспечивает безопасность.

Вернёмся к симбиозу матери и ребёнка. Младенец слаб и полностью зависим. Напрямую контролировать мир он не может, но может установить связь с тем, кто этот мир контролирует. Привязанность — это первичная форма делегирования контроля. Мать обеспечивает ту безопасность, которая была утрачена в ходе перинатальной катастрофы, восстанавливая посредством связи ощущение предсказуемости. Окситоцин обеспечивает эту связь биохимически. Он побуждает младенца искать близости, а мать — откликаться.

Во взрослой жизни окситоцин выполняет ту же функцию. Романтическая любовь, дружба, чувство принадлежности к группе — формы симбиоза, попытки воссоздать посредством связи то ощущение безопасности, которое было связано с матерью. Всё это работа окситоцина, но действует он не в одиночку. Дофамин обеспечивает предвосхищение встречи, вазопрессин⁴⁸ — долгосрочную парную привязанность, серотонин — устойчивость связи. Каждая форма близости — целый молекулярный ансамбль, и окситоцин в нём только первая скрипка.

Окситоцин — не универсальная молекула доброты. Он усиливает привязанность к своей группе, но усиливает и враждебность к чужим. К «своим» он делает нас внимательнее, но к «чужим» это не относится. Окситоцин возводит границу между «мы» и «они». Солидарность внутри группы легко сочетается с агрессией к чужакам.

Это имеет прямые следствия для понимания социальной истории. Молекула, связывающая мать и ребёнка, скрепляет боевое братство, делает солдата способным умереть за товарища. Она же питает ненависть к чужаку, угрожающему семье. Граница между «мы» и «они» — не культурный предрассудок, который можно преодолеть просвещением. Это нейрохимическая конструкция, встроенная в структуры психики. Культура, образование и институты способны существенно смещать и переопределять эти структуры, расширяя круг тех, кого мы воспринимаем как «своих». Но работа по расширению этого круга требует большего, чем правительственные убеждения. Она требует систематических условий, которые постоянно переписывают границы, заданные нейрохимией по умолчанию. Тезис о том, что цивилизация обеспечивается

постоянной работой, в то время как сама жизнь задана врождёнными свойствами, — один из важнейших в этой книге.

Самые страшные коллективные преступления в истории совершались людьми, способными на глубокую любовь и самопожертвование. Но всё это было обращено исключительно внутрь своей группы. Молекула, делающая нас способными любить, делает нас способными и убивать. Окситоцин не объясняет, почему в одних обстоятельствах дело оборачивается геноцидом, а в других — нет. Здесь в игру вступают идеология, политическая организация, дефицит ресурсов, пропаганда и целенаправленная дегуманизация. Но нейрохимия задаёт психологическую возможность: одни и те же люди, глубоко любящие своих, способны систематически уничтожать чужих — не вопреки своей человечности, а отчасти благодаря ей.

Все четыре молекулы — дофамин, кортизол, серотонин, окситоцин — работают вместе, образуя сложный комплекс взаимозависимостей. Они обеспечивают разные стороны стремления к контролю: дофамин мотивирует посредством предвосхищения, кортизол и норадреналин мобилизуют при угрозе, серотонин маркирует позицию в иерархии, окситоцин скрепляет связи с близкими.

Стремление к контролю — воля к власти — не одна эмоция и не единый импульс. Это согласованная работа множества систем, задача которой — сделать мир предсказуемым и соответствующим ожиданиям организма.

Медитативные практики, снижающие реактивность, измеримо меняют баланс тех же систем: опытные созерцатели демонстрируют иную конфигурацию кортизольного ответа, иные паттерны активности дофаминовой системы и иную плотность серотониновых рецепторов. Аскетическая работа над собой — не отказ от нейрохимии контроля, а её иная настройка. Тот, кто уменьшает зависимость от внешнего, перестраивает те же молекулярные контуры, посредством которых завоеватель расширяет зону своего воздействия на мир.

Базовые эмоциональные системы, обеспечивающие контроль

Нейробиолог Яак Панксепп⁴⁹ посвятил жизнь изучению эмоций у животных и рассматривал их как врождённые нейронные системы, общие для всех млекопитающих и встроенные в глубинные структуры мозга. Эти системы не формируются в процессе обучения. С рождения они обеспечивают базовые формы взаимодействия с миром. Панксепп выделил семь таких систем — семь способов установления и поддержания контроля над обстоятельствами.

SEEKING — система поиска и исследования. Она запускает активное освоение среды, любопытство, тягу к новому. На ней держится поведение ребёнка, впервые трогающего предметы, и взрослого, создающего нечто небывалое. Нейрохимически она связана с дофамином и расширяет зону контроля, превращая неизвестное в известное и доступное.

FEAR — система страха, включающаяся при угрозе. Она реагирует на возможность утраты жизни, безопасности или ресурсов и мобилизует организм для избегания опасности. Страх защищает имеющийся контроль. Его патологические формы возникают, когда угроза постоянно ощущается без реальных оснований.

RAGE — система ярости, возникающая при фрустрации и блокировке действия. Когда цель недостижима из-за препятствия, включается агрессия, направленная на его устранение. Гнев выражает активное сопротивление утрате контроля и возможен там, где ещё остаётся шанс на борьбу.

CARE — система заботы, обеспечивающая родительское поведение и поведение, связанное с привязанностью. Благодаря ей благополучие другого включается в собственную зону ответственности. Забота расширяет контроль, размывая границу между собой и другим и превращая чужие потребности в собственные задачи.

PLAY — система игры, в которой навыки отрабатываются без реального риска. Игра — это тренировка контроля, гибкости и умения приспосабливаться к неожиданному, подготовка к будущим реальным ситуациям.

LUST — система сексуального влечения. Она связана не только с размножением, но и с динамикой выбора, инициативы и доминирования. Благодаря ей реализуется контроль над воспроизводством и продолжением рода.

PANIC/GRIEF — система паники и горя, реагирующая на утрату привязанности. Паника направлена на восстановление связи, а горе возникает, когда восстановление невозможно. Это реакция на разрушение опоры, обеспечивавшей безопасность и предсказуемость мира.

Все семь систем Панксеппа поддаются единому прочтению — как разные проявления стремления к контролю над обстоятельствами. **SEEKING** расширяет контроль, **FEAR** его защищает, **RAGE** борется за него, когда на пути встаёт препятствие, **CARE** распространяет его на других, **PLAY** его отрабатывает, **LUST** распространяет на воспроизводство, **PANIC/GRIEF** сигнализирует о его утрате вследствие разрушения привязанности.

Из этого не следует, что все эмоции «по существу» представляют собой одно и то же. Они различны по переживанию, нейронным субстратам и функциям. Но организованы они вокруг одного центрального принципа — соотношения между предсказаниями организма и реальностью, между стремлением контролировать мир и способностью это делать.

Два вектора стремления к контролю

Камень не сопротивляется нашей работе с ним, ибо не обладает волей, не скрывает намерений и не мстит. Зато он подчиняется физическим законам — гравитации, инерции, трению. Если эти законы известны, поведение камня предсказуемо. Его можно поднять, бросить, обработать, встроить в конструкцию.

Контроль над природой — вопрос знания и технологии. Чем глубже понимание физики, химии и биологии, тем точнее предсказание природных процессов. Чем совершеннее орудия — от каменного топора до ядерного реактора, — тем шире возможности переделывать природу под свои нужды. История человечества есть история роста такого контроля: приручение огня, одомашнивание растений, изобретение колеса, металлургия, пар, электричество, генная инженерия. Каждый шаг расширяет зону предсказуемости, делает мир немного послушнее человеческой воле.

Человек, конечно же, не камень и не вещь какого-либо рода. Он сам является носителем воли к власти и потому способен намеренно обмануть ожидания, скрыть мотивы, подчиниться внешне, но выжидать подходящего момента для реванша. Контроль над человеком — это способность влиять на чужие решения, принуждать к нужному поведению, заключать договоры и обеспечивать их выполнение.

Различение мира вещей и мира людей — не умозрительная конструкция. Мозг обрабатывает их по-разному, при помощи разных нейронных систем. Одни области специализируются на обработке физических характеристик объектов: веса, формы, траектории. Другие работают с людьми и их внутренними состояниями — намерениями, убеждениями, эмоциями. Повреждение первых нарушает способность обращаться с предметами, но сохраняет понимание людей. Повреждение вторых приводит к аутизму — расстройству, при котором человек прекрасно справляется с вещами, зато плохо понимает чужие намерения.

Здесь можно перейти к двум векторам воли к власти. Первый направлен на контроль над природой и обеспечивает стремление сделать физический мир предсказуемым и подвластным. Он реализуется посредством орудий, труда и знания законов природы. Человек, возделывающий поле, строящий дом или ставящий научный опыт, во всех этих случаях осуществляет один и тот же тип воздействия на среду. Второй вектор отвечает за контроль над другими людьми, за стремление сделать окружающих предсказуемыми и направить их действия в нужное русло. Он реализуется в личных отношениях, в деятельности институтов и в принуждении.

Оба вектора связаны. Контроль над природой требует кооперации: построить пирамиду или запустить космический корабль в одиночку не получится. Кооперация же немедленно порождает вопрос координации — как обеспечить согласованность действий, как распределить задачи и результаты. Это уже вопросы контроля над социумом. Верно и обратное. Тот, кто держит в руках ресурсы — землю, пищу, оружие, — имеет власть над теми, кто в них нуждается. Материальная база — не единственная опора социальной власти, но фундамент надёжный.

Социальность, таким образом, осуществляется одновременно как сотрудничество и как конфликт. Другие нужны, потому что в одиночку не выжить, потому что многие цели достижимы только сообща. Но с теми же другими приходится конкурировать, поскольку каждый стремится контролировать обстоятельства своей жизни, а в обстоятельства жизни одного человека почти всегда входит другой человек, также стремящийся к контролю. Родитель хочет послушания — ребёнок хочет автономии. Работодатель хочет максимальной отдачи за минимальную плату — работник хочет обратного. Правительство ищет порядка — граждане ищут свободы. На всех уровнях, от семьи до международных отношений, взаимодействие выстраивается как сплетение кооперации и конфликта, симбиоза и господства.

Краткое описание цивилизации

Каждое поколение получает в наследство накопленные результаты чужого труда и опыт в форме знания. Технологии и институты — застывший труд предков, который продолжает работать без повторения затраченных ими усилий. Цивилизация есть капитализированная власть над природой плюс наработанные принципы распределения коллективного капитала. Мы как вкладчики в общее дело получаем с этого капитала доход в соответствии с нормами своей цивилизации.

Знакомый с трудами Майкла Манна читатель обнаружит здесь описание коллективной и дистрибутивной власти. А вот понятие «капитал» берётся здесь в смысле Пьера Бурдьё⁵⁰, а не Маркса или финансовой теории. Французский социолог расширил его далеко за пределы денег и собственности. Капитал у него — любой накопленный ресурс, дающий преимущество в конкурентной борьбе за положение в обществе и способный воспроизводить себя. Бурдьё различал несколько форм: экономический капитал — деньги и имущество, культурный — образование и вкус, социальный — связи и репутация, символический — авторитет. Все они обратимы друг в друга, хотя и не без потерь.

Главное свойство любого капитала — накапливаться и передаваться. Его наличие придаёт владельцу ускорение, при этом сам капитал на ходу меняет формы. Тот, кто уже обладает культурным капиталом, легче приобретает финансовый, а вошедший в нужные социальные сети получает доступ к ресурсам, закрытым для посторонних.

Когда в этой книге говорится о «капитализированной власти над природой», имеется в виду накопленный и передающийся из поколения в поколение контроль в виде орудий, технологий, институтов, знаний и моральных категорий. Цивилизация и есть этот капитал, работающий поверх усилий тех, кто его создал.

Нейрофизиология социальности

До сих пор мы рисовали теоретическую картину индивида, который пытается контролировать физический мир, движимый волей к власти. Но это лишь часть модели. Мы не рождены одиночками. Человеческий мозг изначально настроен на других людей. Коллективизм — не культурное приобретение, не надстройка над биологическим ядром.

Новорождённому несколько часов от роду. Он ещё не держит голову. Ему показывают карточки: круг, квадрат, хаотичный узор, схематичное лицо. Взгляд задерживается на лице дольше всего. Мозг новорождённого уже умеет выделять паттерны, характерные для человеческого лица. Навык этот не приобретён, а врождён.

Более того, новорождённый способен к примитивной имитации. Если взрослый, глядя на младенца, высовывает язык, младенец спустя некоторое время тоже высовывает язык. Мозг сопоставляет действие, увиденное у другого, с собственным телом и воспроизводит его. Следовательно, у мозга новорождённого уже есть некоторое представление о соответствии между чужим телом и своим.

Младенец различает голос матери. Он поворачивает голову к знакомому звуку, успокаивается, услышав его. На резкую интонацию реагирует беспокойством. Всё это происходит задолго до того, как сложатся языковые навыки и придёт понимание слов.

Открытие зеркальных нейронов в 1990-х годах итальянским нейрофизиологом Джакомо Риццолатти⁵¹ и его коллегами стало прорывом в понимании социального мозга. Зеркальные нейроны — это класс нейронов, которые активируются в двух случаях: когда я сам совершаю действие и когда наблюдаю, как это действие совершает другой.

Если взять чашку, в моторной коре активируются области, управляющие движением руки. Но стоит увидеть, как чашку берёт другой человек, и те же области активируются снова. Я не двигаюсь, моторный выход заблокирован, но мой мозг симулирует действие другого, проигрывает его внутри себя. Зеркальные нейроны — основа эмпатии и социального обучения. Я понимаю, что вы делаете, потому что мой мозг моделирует ваше действие изнутри, словно я сам его совершаю. Новому движению можно научиться, наблюдая за другим. Мозг уже репетирует его.

Конечно, первоначальный энтузиазм вокруг зеркальных нейронов поутих. Гипотеза о том, что они составляют нейронную основу эмпатии, была слишком красивой и потому стала популярной слишком быстро. Последующие исследования показали, что картина сложнее. Эмпатия требует нескольких параллельных систем, а зеркальные механизмы — лишь один из её компонентов.

Тем не менее кое-что твёрдо установлено. Мозг действительно связывает наблюдение за действием с его внутренней симуляцией. Эта связь реальна и участвует в имитации и базовом эмоциональном отклике на чужое состояние. Механизм существует. Он лишь не столь прямолинеен, как казалось в первые годы после открытия.

Другой человек — не объект вроде камня. Это агент⁵², существо с намерениями, чьи поступки нужно предсказывать, а значит, необходимо понимать его цели. Зеркальные механизмы — один из инструментов, которые мозг использует для этого. Симуляция чужого действия изнутри даёт первичную зацепку. Полная картина шире и включает системы, напрямую не связанные с моторной имитацией, но принцип внутреннего моделирования чужого действия остаётся ключевым.

Граница между собственным телом и внешним миром складывается очень рано, задолго до того, как ребёнок научится говорить. Слов «я» и «ты» он ещё не знает, но его мозг уже проводит это разграничение. Работает это следующим образом. Мозг получает два потока сигналов: от собственного тела — ощущения положения конечностей и состояния внутренних

органов — и извне — от органов зрения, слуха и осязания. Когда я двигаю рукой, я посылаю команду мышцам и тут же получаю обратную связь от руки. Мозг сопоставляет команду с обратной связью. Если они совпадают, это моё действие. Если я вижу движущуюся руку, не посылая никакой команды, это чужое действие. Граница между Я и не-Я — это граница между тем, что я могу контролировать, и тем, что мне неподвластно.

Эта граница — базовая нейрофизиологическая настройка, без которой адаптивное поведение невозможно. Организм, неспособный отличить свои действия от внешних событий, не может эффективно действовать в мире.

Первый Другой, которого встречает младенец, — мать. Её лицо, голос, запах и прикосновения становятся первыми объектами, которые мозг учится распознавать как чужие и одновременно жизненно важные. Мать — первая модель Другого, прототип всех последующих отношений.

Джон Боулби и его последователи показали, что типы привязанности⁵³, складывающиеся в первые годы жизни, обладают устойчивостью. Надёжная привязанность — мать откликается на потребности, а ребёнок уверен в её доступности — формирует базовое доверие к миру. Тревожная привязанность — мать ведёт себя непредсказуемо — порождает постоянную тревогу об отношениях и страх быть брошенным. С избегающей привязанностью дело обстоит иначе. Мать холодна и отстранена, поэтому ребёнок вырабатывает стратегию самодостаточности. Потребность в близости при этом не исчезает, но подавляется.

Эти паттерны воспроизводятся во взрослой жизни. Люди с надёжной привязанностью легче строят близкие отношения и не паникуют при временных разлуках. Люди с тревожной привязанностью постоянно ищут подтверждений любви и боятся быть брошенными. Те же, чья привязанность в детстве была избегающей, во взрослом возрасте, как правило, дистанцируются от партнёров и ценят независимость превыше близости.

Всё это не означает жёсткого детерминизма. Опыт взрослой жизни способен изменить сложившиеся схемы. Но первые отношения с матерью становятся шаблоном, сквозь который мозг интерпретирует все последующие социальные взаимодействия.

Социальное вырастает из индивидуального — по крайней мере, в том смысле, что без биологической готовности к привязанности, распознаванию намерений и переживанию отвержения как боли никакой социальной жизни не возникло бы вовсе. Мы будем проводить эту мысль настойчиво. Для рождения коллектива не нужен общественный договор как исходный акт: базовое тяготение людей друг к другу предшествует любым договорённостям и составляет их нейрофизиологическую почву. Конкретные формы социальной организации — институты, право, государство — не произвольны. Они воспроизводят в другом масштабе те же структуры, которые действуют внутри одной психики.

Здесь уместно вспомнить принцип фрактальности. Фрактал — это объект, чья структура повторяется при изменении масштаба: ветвь дерева устроена так же, как дерево целиком; береговая линия залива повторяет береговую линию континента. Применительно к социальной жизни это означает следующее. Механизмы, регулирующие отношения между двумя людьми, — иерархия и близость, доверие и страх отвержения, борьба за статус и потребность в принадлежности — воспроизводятся на уровне малой группы, затем на уровне института и государства. Меняется масштаб, меняются имена участников, усложняются процедуры. Логика остаётся той же. Государство не изобретает новых страстей — оно канализирует старые. Это не означает, что государство сводится к психологии индивида. Между нейроном и парламентом лежат слои истории, экологии и технологии, которые ещё предстоит рассмотреть. Но несущие балки конструкции остаются теми же.

Цивилизация в этом смысле является масштабным социальным интерфейсом, призванным компенсировать последствия перинатального стресса при помощи механизмов коллективного контроля.

Насколько глубоко и буквально социальность встроена в человеческий мозг, показывают нейробиологические исследования. В 2003 году группа учёных под руководством Наоми Айзенбергер⁵⁴ из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела эксперимент, ставший классическим. Испытуемые играли в компьютерную игру, в которой трое игроков перебрасывали друг другу виртуальный мяч. Двое других «игроков» были программами. В какой-то момент программы переставали бросать мяч реальному участнику и перебрасывали его только между собой. Когда испытуемый выбывал из игры, у него активировались те же области мозга, что и при физической боли.

Таким образом, социальное отвержение — даже в такой тривиальной форме, как исключение из виртуальной игры с незнакомцами, — задействует те же нейронные цепи, которые участвуют в обработке физической боли: переднюю поясную кору и передний отдел островковой доли. Когда мы говорим «душа болит» или «мне больно от твоих слов», это не просто метафора — за этими словами стоит реальное нейронное перекрытие. Речь не идёт о тождестве. Последующие исследования уточнили, что перекрытие частичное, а субъективный характер двух видов боли различается. Но факт, что мозг отвечает на социальное отвержение теми же системами, которые регистрируют физическое повреждение, — уже красноречивая анатомия.

Показательны и данные о болеутоляющих. Исследование Де Уолла⁵⁵ и его коллег показало, что люди, принимавшие парацетамол в течение нескольких недель, сообщали о меньшем числе переживаний социальной боли по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Результат любопытный, хотя и не окончательный: последующие репликации дали противоречивые данные, и вопрос о том, снижают ли обезболивающие социальное страдание напрямую, остаётся открытым. Тем не менее сама попытка такого исследования симптоматична. Она исходит из гипотезы о единстве болевых систем, достаточно правдоподобной для того, чтобы её проверять. Впрочем, для этого вывода данные науки необязательны: каждый может вспомнить, насколько тяжела душевная боль.

Для столь общественного существа, как человек, исключение из группы исторически означало гибель. Одиночка в саванне плейстоцена не выживал. Один человек не проведёт загонную охоту на крупного зверя и не вырастит младенца, ибо потребности человеческого детёныша превосходят возможности одной матери. Одиночество убивало неизбежно и быстро.

Мозг встроил социальную потребность в систему боли. Отвержение и одиночество регистрируются им как сигнал угрозы того же типа, что и сигнал от повреждённой ткани или нехватки кислорода. Перетерпеть этот сигнал — значит игнорировать пожарную тревогу, убедив себя, что запах дыма не опасен.

Хроническое одиночество убивает — судя по всему, буквально. Метаанализы Холт-Лунстад⁵⁶ и её коллег показывают, что социальная изоляция ассоциирована с повышенным риском преждевременной смерти. По силе связи этот эффект сопоставим с курением и заметно превосходит ожирение или отсутствие физической активности. Одиноким людям чаще болеют, медленнее выздоравливают, имеют более высокий уровень воспаления и более слабый иммунитет; у них выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и депрессии. Это корреляционные данные: одиночество часто сопутствует депрессии, низкому достатку и плохому уходу за собой, поэтому распутать причины и следствия непросто. Но масштаб и воспроизводимость картины таковы, что игнорировать её невозможно.

Потребность в другом человеке — не культурное приобретение и не слабость, которую воспитание способно исправить. Это нейрофизиологическая данность, такая же базовая, как потребность в пище или безопасности. Человек не может «не хотеть» социальных связей так же, как не может не хотеть дышать. Эту потребность можно подавить, убедив себя, что самодостаточность — это сила. Но цена такого убеждения — болезнь. Одиноким людям умирают раньше.

Симбиозы как стратегия выживания

Симбиоз в биологии и экологии — устойчивая форма совместного существования организмов разных видов, при которой они регулярно используют друг друга в качестве среды, а не взаимодействуют лишь эпизодически. В зависимости от характера взаимодействия различают мутуализм — взаимную выгоду, комменсализм — выгоду одного без ущерба для другого и паразитизм — выгоду за счёт другого.

Внешние расширения человека

Ричард Докинз⁵⁷ предложил переосмыслить одну из самых привычных биологических границ — границу организма. В концепции расширенного фенотипа⁵⁸ организм не заканчивается там, где заканчивается его тело. Гены управляют миром за пределами биологической клетки. Бобровая плотина является таким же продуктом бобровых генов, как и бобровые зубы. Паутина паука — его морфологический признак, только вынесенный наружу. С этой точки зрения вопрос «где кончается организм?» лишается однозначного ответа. Организм присутствует везде, где действуют его функциональные продолжения.

Если перенести эту логику в социальный и технический контекст, картина окажется неудобной для привычных представлений. Человек систематически опирается на внешние структуры — людей, институты, технику, вещи — как на функциональные продолжения самого себя, передавая им жизненно важные операции: защиту, ориентацию, координацию, память. Эти структуры давно перестали быть только инструментами и стали условием нормального существования.

Философы Энди Кларк⁵⁹ и Дэвид Чалмерс⁶⁰ сформулировали этот тезис следующим образом. Если пациент с болезнью Альцгеймера⁶¹ систематически использует записную книжку для хранения того, что здоровый человек хранит в голове, то записная книжка функционально неотличима от памяти. Следовательно, она является частью его познавательной системы.

Расширенный разум⁶² — серьёзная теоретическая позиция, обладающая развитой аргументацией и не менее развитой критикой. Для целей этой книги важно, что независимо от того, является ли записная книжка буквально частью когнитивной системы пациента, она функционирует как таковая в том смысле, что её потеря разрушает возможность действия так же, как её разрушило бы повреждение соответствующего участка памяти. Эта функциональная неотделимость и есть то, что нас здесь интересует. Поэтому искусственный интеллект не может безоговорочно рассматриваться как нечто чуждое нам. Нейросети виртуального мира — продолжение нейросетей нашего мозга, часть нашего тела. Но это тема другой книги.

Здесь важно остановиться на понятии симбиоза, потому что оно позволяет соединить биологическую и социальную логику без потери строгости. В экологии симбиоз — не «гармония» и не «взаимная выгода», а структурная взаимозависимость. Жизненные функции одного организма частично выносятся за пределы его собственного тела и обеспечиваются другим организмом или системой. Кишечная микрофлора не является органом в анатомическом смысле, но выполняет функции, без которых организм-хозяин не может нормально существовать. Разрыв симбиоза означает не дискомфорт, а угрозу выживанию. В этом смысле социальность, техника и институты являются для человека симбиотическими системами.

Если соединить два этих хода — симбиоз и расширенный фенотип, — возникает более общая схема. В биологическом симбиозе организм делегирует функции другому телу или системе. В расширенном фенотипе он проецирует себя во внешнюю среду, создавая устойчивые структуры, которые начинают работать как его продолжение. В социальной реальности оба процесса сходятся и переплетаются. Язык, деньги, право, цифровые системы — это устойчивые внешние контуры, в которых человеческие функции одновременно вынесены из тела, закреплены в институциональных формах и возвращаются к индивиду как необходимые условия его действия. Человек оказывается не субъектом, использующим инструменты, а узлом в системе взаимных проекций и симбиозов.

Примечательно, что эта схема воспроизводится на каждом уровне организации — от психики до цивилизации. Механизм остаётся одним и тем же, но на каждом уровне он порождает специфические формы зависимости и специфические точки уязвимости.

На уровне психики индивид никогда не является целостным и самодостаточным субъектом даже в самом интимном смысле. Значительная часть того, что мы называем «собой», размещена не внутри, а между нами: в устойчивых отношениях с другими людьми, в разделяемых нарративах, в объектах, несущих аффективную нагрузку. Психоаналитическая традиция давно фиксировала это, описывая, как другой человек становится частью внутренней структуры субъекта. Но речь идёт не только о привязанности. Когнитивная наука показывает, что даже базовые процессы — регуляция аффекта, поддержание самооценки, способность к связному мышлению — частично обеспечиваются внешними регуляторами: близкими людьми, ритуалами, средой. Потеря этих внешних опор действует не как утрата комфорта, а как структурное повреждение.

Если довести эту логику до предела, она бросает неожиданный свет на то, что философы называют «трудной проблемой сознания»⁶³, — вопрос о том, почему и как вообще возникает субъективный опыт. Возможно, сознание — это не свойство изолированной личности, а линия соприкосновения Я и не-Я, интерфейс между личностью и другими.

На уровне малых групп и институтов та же схема воспроизводится в другом масштабе. Организации, государства, профессиональные сообщества систематически выносят свои функции в процедуры, нормы, архивы и роли, то есть в структуры, которые продолжают работать независимо от конкретных людей, их населяющих. Римское право пережило Рим. Университет как институт воспроизводит себя при смене поколений, не сохраняя ни одного из своих первоначальных элементов. Институт — расширенный фенотип коллектива, вынесенный в материальные и нормативные формы и возвращающийся к индивидам одновременно как внешнее принуждение и как условие возможности действия.

Разрушение внешних регуляторов на психологическом уровне ведёт к тому, что клиническая литература описывает как дезинтеграцию личности. Разрушение институциональных контуров на социальном уровне ведёт к тому, что историки описывают как коллапс координации. Общество внезапно обнаруживает, что не умеет делать элементарных вещей, которые прежде делались «сами собой». В обоих случаях выясняется одно и то же: то, что казалось внешним и вспомогательным, было несущим.

Конкретнее рассмотреть это позволяет то, что можно назвать картой выноса функций. Начать удобнее всего с памяти, потому что здесь сдвиг наиболее очевиден. Биологическая память ограничена и подвержена искажениям, поэтому, начиная с возникновения письма, она обрастает внешними слоями: архивами, базами данных, облачными системами. С определённого момента индивидуальная память перестаёт быть основной. Человек «помнит» не потому, что хранит информацию, а потому, что умеет её находить. Память превращается из внутреннего ресурса в способность ориентироваться во внешних хранилищах. Потеря доступа к социальной инфраструктуре фактически означает частичную когнитивную амнезию.

Аналогичный процесс происходит с ориентацией и знанием мира. Значительная часть ориентации делегирована системам навигации, алгоритмам поиска и рекомендательным системам. Человек всё меньше «знает» и всё больше «доверяет процедурам доступа к знанию». Схожая логика работает и в координации действий. В больших системах она вынесена в институты, протоколы и стандарты. Рынок, бюрократия, цифровые платформы — внешние координационные механизмы. Индивид не согласует действия с другими напрямую, а встраивается в уже работающую систему согласования. Монополия на легитимное насилие⁶⁴, описанная Максом Вебером⁶⁵, — классический пример выноса функции защиты. Индивид не защищает себя

самостоятельно, а делегирует эту функцию государству и праву. Плата за это вполне очевидна: безопасность покупается ценой зависимости.

Все эти модули сцеплены. Потеря одного внешнего контура влечёт за собой деградацию других. Сбой в системах координации быстро бьёт по безопасности; потеря доступа к внешней памяти снижает способность к ориентации и принятию решений. Это и есть признак настоящего симбиоза, а не использования инструментов.

Из сказанного вытекает несколько следствий, которые обычно остаются незамеченными. Первое — иллюзия автономии. Человек воспринимает себя как центр действий, хотя фактически действует как узел в сети вынесенных функций. Автономия становится локальным эффектом хорошо работающей инфраструктуры, а не врождённой способностью. Второе — асимметрия контроля. В случае биологического расширенного фенотипа структура подчинена организму: бобровая плотина не имеет собственной логики воспроизводства. В случае организаций это не так. Институты и системы обладают собственной инерцией, воспроизводят себя независимо от намерений конкретных людей, а человек оказывается одновременно их создателем и зависимым элементом. Третье — уязвимость вследствие сложности. Чем больше функций вынесено наружу, тем выше общая эффективность, но тем сильнее возрастает системная хрупкость. Наконец, если продолжить линию Докинза до предела, эволюционное давление начинает действовать не только на организмы, но и на конфигурации внешних контуров. Выживают уже не отдельные люди, а связки «человек плюс инфраструктура».

Из этого вырастает формула, близкая к парадоксу. Человек исторически увеличивал свою мощь, вынося функции наружу. Но в результате он стал зависеть от этих вынесенных функций сильнее, чем когда-либо зависел от собственного тела. Это уже не теория симбиоза сама по себе, а строгая социально-техническая версия понятия отчуждения⁶⁶ у Маркса и производства субъекта властью у Фуко⁶⁷.

Симбиоз как стратегия

Главная стратегия, которую избирает психика в ответ на утрату симбиоза с матерью, проста: восстановить его. Найти во внешнем мире нечто, что будет выполнять ту же роль, которую выполняла мать: обеспечивать безопасность, насыщение и предсказуемость, снижать необходимость в усилиях.

Симбиоз с другим человеком — первая и самая очевидная форма этой стратегии. Британский психиатр Джон Боулби разработал теорию привязанности в 1950—1960-х годах, наблюдая за детьми, разлучёнными с матерями в годы Второй мировой войны. Его вывод противоречил господствовавшим представлениям. Потребность младенца в надёжной связи с заботящимся взрослым не является производной от потребности в пище. Она самостоятельна и базова. Младенец ищет прикосновение, взгляд, голос. Ищет присутствие — постоянное, откликающееся. Ищет подтверждение того, что его крик услышан.

Эксперименты Гарри Харлоу⁶⁸ с детёнышами макак-резусов стали классической иллюстрацией того же принципа. Новорождённых обезьян разлучали с матерями и помещали в клетки, где находились два суррогата. Один был обтянут мягкой тканью, но молока не давал. Другой представлял собой голую проволочную конструкцию с прикреплённой бутылочкой. Детёныши прибегали к «проволочной матери» лишь для того, чтобы быстро поесть, а всё остальное время цеплялись за тканевую. Когда их пугали громким звуком или механической игрушкой, они немедленно бросались именно к ней.

Вывод был однозначен: контакт, прикосновение, ощущение защищённости — самостоятельная потребность, не производная от кормления. Младенец ищет того, кто восстановит утраченный симбиоз, а не только источник калорий.

Младенец стремится не к «доброте», а к системе, в которой ему есть к кому прислониться. Привязанность в этом смысле есть попытка воссоздать условия, при которых Другой обеспечивает всё необходимое автоматически, без необходимости просить и объяснять. Идеальная мать, с точки зрения младенческой психики, — та, которая предвосхищает потребности: знает, когда ребёнок голоден, прежде чем он заплачет; чувствует, что ему страшно, и появляется раньше, чем страх станет непереносимым. Именно так работала материнская утроба — предвосхищающе и безусловно.

Взрослые формы той же стратегии хорошо заметны. Зависимость в романтических отношениях, при которой человек паникует в отсутствие партнёра и растворяется в нём, есть отголосок стремления к симбиозу. Страх одиночества, мучающий людей сильнее материальных лишений, понятен в этом свете. Одиночество — возвращение к моменту рождения, когда симбиоз разорвался и мир впервые стал чужим. Патологические формы созависимости, при которых человек терпит насилие, лишь бы не остаться одному, — та же стратегия, доведённая до крайности. Плохой симбиоз предпочтительнее никакого.

Симбиоз с одним человеком содержит в себе неустранимое противоречие. Другой — тоже носитель воли, также стремящийся к контролю. Он уходит, меняется, предъявляет собственные требования. Чем теснее симбиоз, тем острее уязвимость: тот, от кого зависишь больше всего, причиняет наибольшую боль. Реальный человек никогда не станет системой, предвосхищающей все потребности, по той же причине, по которой невозможно вернуться в утробу.

Масса как реализация стратегии симбиоза

Отсюда возникает логика, толкающая человека за пределы отношений двоих. Если один Другой слишком хрупок и своеволен, чтобы стать надёжной опорой, то многие, быть может, смогут ею стать. Раствориться в тысячах безопаснее, чем в одном: тысячи не уйдут все сразу, аффект толпы не откажет в отклике, общее движение не предаст. Так индивидуальная стратегия симбиоза естественно перерастает в коллективную. Психологическая логика привязанности переходит в социальную логику массы. На этом стоит остановиться подробнее.

Элиас Канетти⁶⁹ в книге «Масса и власть»⁷⁰ рассматривал массу как особое психофизическое состояние. В нём исчезают границы между «я» и окружающими. Человек перестаёт быть отдельным телом и становится частью единого целого — подобно тому, как капля, падая в море, перестаёт быть каплей. В массе неопределённость снижается за счёт синхронизации ожиданий.

Центральный образ Канетти — страх прикосновения. В обычной жизни мы постоянно охраняем дистанцию между собой и другими. Чужое прикосновение воспринимается как вторжение, нарушение границы, угроза. Одежда, жилище, социальные конвенции, сама структура городского пространства с его квартирами и кабинетами — всё это барьеры против нежелательного контакта. В массе происходит переворот: то, что обычно пугает, становится желанным.

Канетти описывает это как «разрядку» — момент, когда масса достигает критической плотности и все различия между людьми перестают иметь значение. Богатый и бедный, начальник и подчинённый — в массе эти различия растворяются. Остаются общее движение, общий аффект. Индивид больше не противостоит миру как автономная единица — он становится частью потока.

Масса переживается изнутри как освобождение, а не как принуждение. В ней исчезает одиночество — фундаментальное одиночество отдельного существования, которое никакие личные привязанности не устраняют до конца. Исчезает ответственность: не нужно принимать решения, когда решение принимается само, как движение общего тела. Исчезает необходимость поддерживать собственные границы — выполнять ту постоянную работу по удержанию себя как целостной единицы, которая в обычной жизни требует непрерывного усилия.

Это переживание освобождения объясняет притягательность массовых событий — от религиозных праздников до политических митингов, от футбольных матчей до рок-концертов. Люди ищут массу не ради содержания события, а ради самого состояния растворения. Фанаты ценят момент, когда «я» расширяется до «мы».

С точки зрения логики симбиоза масса читается как его коллективная форма. Она воспроизводит ключевые параметры того исходного состояния, в котором граница между субъектом и средой ещё не проведена.

В массе снижена неопределённость, потому что направление задаётся коллективом. Не нужно выбирать, куда идти: масса сама несёт. Когда все вокруг кричат от восторга или негодования, вопрос «как я должен это воспринимать?» просто не возникает.

В массе уменьшена угроза — не благодаря рациональному расчёту вероятностей, а благодаря переживаемому ощущению защищённости, которое даёт численность. Хищник не может схватить всё стадо.

В массе снижена потребность в индивидуальном усилии, потому что действие совершается само. Человек внутри неё не движет, а движется; не решает, а участвует в уже принятом решении. Субъектность передаётся целому.

Наконец, в массе резко сокращён зазор между ожиданием и реальностью — тот самый зазор, который составляет фундаментальный источник фрустрации. В обычной жизни мир

постоянно не совпадает с нашими ожиданиями. В массе ожидания синхронизированы: все ждут одного и того же. Когда же это происходит — гол забит, вождь появился на балконе, музыка началась, — совпадение переживается с особой интенсивностью, поскольку это переживание разделяют тысячи других.

Религиозные собрания — от христианских богослужений до исламского хаджа — организованы как контролируемое производство массового состояния. Паломничество в Мекку, во время которого миллионы людей совершают одни и те же действия в одном месте, — возможно, наиболее масштабный регулярный опыт массы в человеческой истории. Средневековые карнавалы, описанные Бахтиным⁷¹, — другой пример: санкционированное временное растворение социальных границ.

Современные массовые мероприятия — спортивные события, музыкальные фестивали, политические митинги — продолжают эту традицию. Технологии создали новые формы. «Виртуальная масса» зрителей, одновременно смотрящих трансляцию, или пользователей социальных сетей, участвующих в вирусном распространении контента, представляет собой одну из таких форм. Состояние растворения здесь менее интенсивно, физического контакта нет, но механизм остаётся тем же: синхронизация аффекта, ощущение участия в чём-то большем, временное освобождение от индивидуальной изоляции.

Масса — не аномалия и не историческое исключение. Это коллективная форма той же стратегии, которая в младенчестве реализуется в привязанности к матери. Там симбиоз ищут с одним Другим, здесь — с анонимным множеством. Механизм один: редукция границы между собой и средой, передача контроля внешней инстанции, возвращение к состоянию, предшествующему полной индивидуации.

Здесь и открывается пространство для политической манипуляции. Лидеры, способные производить и поддерживать массовое состояние, получают огромную власть — власть, основанную не на принуждении и не на рациональном убеждении, а на удовлетворении глубинной потребности в симбиозе. Тоталитарные режимы XX века были, среди прочего, грандиозными машинами по производству массы. Парады, митинги и ритуалы становились технологиями поддержания состояния, в котором индивид растворён в целом, а целое персонифицировано в вожде. Это, однако, лишь одна из нитей, из которых сплетаются тоталитарные режимы. Экономические катастрофы, распад государственных институтов, военные поражения, идеологические традиции — всё это необходимые условия, без которых психологическая готовность к растворению в массе не конвертируется в политическую форму.

Разновидности симбиоза. Анимизм, фетишизм, реификация

Симбиоз с вещами — менее очевидная, но не менее важная форма той же стратегии. Британский психоаналитик Дональд Винникотт⁷² в 1950-х годах описал феномен, который назвал «переходными объектами»⁷³. Это плюшевые медведи, одеяла, игрушки, которые маленький ребёнок не выпускает из рук, с которыми засыпает, без которых отказывается выходить из дома. Родители воспринимают это как причуду. На деле это нечто гораздо более серьёзное.

Переходный объект — не просто игрушка. Это заместитель материнского присутствия, но заместитель особого рода. В отличие от реальной матери, которая может уйти или исчезнуть из поля зрения, переходный объект всегда рядом. Его можно взять, прижать к себе, отбросить и вернуть. Он всегда остаётся одинаковым, не меняет настроения, не сердится, не отказывает. Это первая вещь, которую ребёнок переживает как «мою» в абсолютном смысле.

Винникотт заметил, что ребёнок относится к переходному объекту парадоксально. Он одновременно знает, что это всего лишь кусок ткани или плюшевая игрушка, и при этом обращается с ним так, будто он живой: сердится на него, наказывает, жалеет, разговаривает с ним. Это не патология и не непонимание. Это способ выстроить с вещью отношения, структурно подобные отношениям с матерью, но лишённые главного источника тревоги — непредсказуемости Другого.

Взрослые формы того же механизма хорошо заметны в привязанности к имуществу. Речь идёт не о желании обладать вещами ради их пользы, а о той эмоциональной связи, которая возникает с определёнными предметами. Человек владеет десятью ручками, но одна из них — «его», та, которой он пишет годами и потеря которой переживается как утрата части себя.

Фетишизм вещей⁷⁴ — ощущение, что некий предмет обладает особой силой, приносит удачу, защищает, — относится сюда же. Накопительство, при котором человек не может ничего выбросить, потому что каждая вещь кажется незаменимой, — та же стратегия, доведённая до патологии.

Суть в том, что вещи, в отличие от людей, поддаются полному контролю. Они не уходят, не предают, не меняются непредсказуемо. Мир вещей — это попытка построить маленький остров стабильности посреди хаоса социального и природного мира.

Анимизм⁷⁵ — наделение природы и вещей человеческими свойствами, волей, намерениями и способностью откликаться — выглядит противоположностью фетишизации вещей, но в своей основе родственен ей. Для архаического сознания река — не просто поток воды, подчиняющийся законам гидродинамики. Она может рассердиться и затопить деревню. Может смириться и дать хороший улов. С ней можно договориться: принести жертву, произнести заклинание, выполнить ритуал. Лес, гора, солнце, инструмент — всё наделяется способностью действовать, откликаться, вступать в отношения.

Это кажется нам наивным и давно преодолённым. Между тем мы ругаем компьютер, когда он «зависает», словно он делает это назло. Гладим машину, когда она заводится после долгих попыток, словно благодарим её за услугу. Говорим «море зовёт», «город поглощает», «история мстит», как будто за этими словами стоят субъекты с намерениями. Анимизм не исчез — он ушёл в метафоры, но его устройство осталось прежним.

Мир, наделённый волей и способностью откликаться, — это мир, с которым можно установить симбиотические отношения. С рекой, которая просто течёт по законам физики, не договоришься. С рекой, у которой есть дух и настроение, договориться можно. Мир становится менее чужим, более похожим на материнскую утробу: он требует от нас не борьбы со слепыми силами, а коммуникативных действий.

Здесь обнаруживается неожиданная связь, перебрасывающая мост от индивидуальной психологии к социальной теории.

Реификация⁷⁶ — превращение отношений между людьми в свойства вещей — и фетишизация — наделение вещей социальными, почти сверхъестественными свойствами — представляют собой два феномена, которые Карл Маркс и Дьёрдь Лукач⁷⁷ анализировали как специфику капиталистического общества. Маркс показывал, как деньги, являющиеся всего лишь знаком общественных отношений, начинают восприниматься как сила, способная «рождать» новые деньги. Лукач описывал, как при капитализме дружба, любовь и творчество принимают форму товарных отношений — калькулируемых, отчуждённых, овеществлённых.

Оба видели в этом патологию капитализма, которую коммунистическое общество должно и может преодолеть, вернув людям способность относиться к людям как к людям, а к вещам — как к вещам. Но взгляд сквозь призму предложенной здесь концепции даёт иную, гораздо менее оптимистичную картину.

Реификация и фетишизация — не исторические аномалии, порождённые капитализмом. Это психологические механизмы, укоренённые в самом способе, при помощи которого человеческая психика справляется с утратой симбиоза. Мы не просто живём в мире вещей и людей, нейтрально взаимодействуя и с теми, и с другими. Мы пытаемся выстроить с этим миром — с вещами, людьми, природой — симбиотические отношения, потому что однажды такие отношения у нас уже были. Они записаны в структуре мозга как базовая модель, и мы бессознательно стремимся воссоздать их.

Вывод отсюда безрадостен для марксизма. Маркс и Лукач выступили с критикой того, что является не извращением человеческой природы капитализмом, а фундаментальным способом, при помощи которого психика организует отношения с миром. Критиковать реификацию и фетишизацию — всё равно что критиковать дыхание. Можно требовать дышать «правильно», но дыхание будет происходить по законам физиологии, а не по моральным предписаниям. Стремление к симбиозу с людьми, вещами, природой, абстракциями — прямое следствие катастрофы рождения и устройства предиктивного мозга, а не случайная черта психологии, исправимая сменой общественного строя.

Тепло холодных чудовищ

Здесь уместно остановиться и посмотреть, как тот же механизм работает не в психологии отдельного человека, а в коллективной жизни — в том, что социология называет большими социальными формами.

Фердинанд Тённис⁷⁸ в 1887 году провёл различие, которое до сих пор остаётся одним из самых точных описаний человеческого опыта социальности. *Gemeinschaft* — община, общность — это тип связи, основанный на непосредственном, тёплом, личном контакте: семья, деревня, религиозная община, где все знают друг друга по имени, где отношения целостны и не сводятся к функции. *Gesellschaft* — общество, ассоциация — это тип связи, основанный на договоре, расчёте, функциональной роли: город, рынок, государство, где люди связаны не теплом, а пользой, не лицом, а контрактом.

Тённис не только описывал два типа социальной организации. Он фиксировал потерю. Модернизация — это движение от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft*, от тепла к холоду, от лица к функции. И это движение переживается людьми не как нейтральное изменение, а как утрата чего-то жизненно важного.

Почему это происходит, теперь понятно. *Gemeinschaft* структурно ближе к симбиозу: в ней Другой предсказуем, отношения устойчивы, принадлежность безусловна. *Gesellschaft* — это мир, в котором каждый связан с каждым только посредством функции, где связь разрывается, как только исчезает её основание. Это холодный мир, мир высокой ошибки предсказания, в котором симбиоз структурно невозможен.

И вот здесь начинается самое интересное. Психика, лишённая живого симбиоза, не примиряется с его отсутствием. Она делает с холодными абстракциями то же самое, что архаическое сознание делало с рекой и лесом: наделяет их теплом, волей, лицом. Анимизирует их.

Нация — абстракция. Никто никогда не встречал нацию лично, не пожимал ей руку, не смотрел ей в глаза. Нация — это воображаемое сообщество, как точно сформулировал Бенедикт Андерсон⁷⁹: миллионы людей, которые никогда не узнают друг друга, но переживают свою связь как реальную, тёплую, органическую. Поэтому Андерсон подчёркивал, что нация воображается не как холодная ассоциация по интересам, а как глубокое горизонтальное товарищество — почти как семья⁸⁰. Нация анимирована: у неё есть характер, судьба, достоинство, которое можно оскорбить, честь, которую нужно защищать. С ней можно установить симбиотические отношения: служить ей, раствориться в ней, умереть за неё.

Государство — ещё более холодная абстракция: аппарат принуждения, бюрократическая машина, система процедур. Но психика неизбежно его реифицирует и фетишизирует. Государство начинает восприниматься как существо с волей, намерениями, способное проявлять заботу или враждебность. «Государство нас бросило», «Родина-мать зовёт», «Отечество в опасности» — это не просто риторика. Это анимистические формулы, в которых абстракция наделяется материнскими свойствами: она может защитить или предать, накормить или бросить голодать, принять в объятия или изгнать.

Флаг функционирует в психике своих носителей схожим образом с тем, что Винникотт описывал как переходный объект. Он не просто символ, а носитель аффекта, материальный якорь принадлежности к целому, которое иначе остаётся абстракцией. Это, конечно, аналогия, а не тождество механизмов: флаг встроен в систему коллективных идентичностей, формируемых политикой, образованием и историей, а острота реакции на его осквернение имеет несколько параллельных объяснений. Но то, что эти объяснения сходятся в одной точке — аффективная нагрузка объекта несоразмерна его материальной природе, — говорит о чём-то реальном в самом устройстве символической принадлежности.

Партия, церковь, корпорация, футбольный клуб — все эти институты проходят один и тот же путь в психике своих членов. Сначала возникает функциональная ассоциация, холодная *Gesellschaft*. Затем, если институт достаточно умело производит символы, ритуалы и нарративы, происходит анимация: у него появляются «душа», «дух», «миссия». Наконец возникает симбиоз: человек начинает переживать принадлежность к институту как часть собственной идентичности, а угрозу институту — как угрозу самому себе.

Тённис видел в движении от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft* трагедию модерна и надеялся на возможность восстановления утраченной общности. Но сквозь призму предложенной здесь концепции его диагноз требует уточнения. Проблема не в том, что модерн разрушил тёплые общности и заменил их холодными ассоциациями. Проблема в том, что психика не умеет жить в холоде и неизбежно согревает любую доступную поверхность. Когда живой общины нет, её функцию берёт на себя нация. Когда нации недостаточно — партия, вождь, идеология. Анимизация не прекращается, она только меняет объекты.

Это бросает неожиданный свет на один из тревожных парадоксов современности. Модернизация создаёт общества с высокой функциональной эффективностью и низкой аффективной насыщенностью — тип *Gesellschaft*, описанный Тённисом. Психика, не находящая в таком обществе органических симбиотических форм, не примиряется с их отсутствием. Она ищет и находит горячие заменители: национализм, харизматических лидеров, тоталитарные движения. Это гипотеза, а не закон: связь между атомизацией и ростом популистских форм эмпирически неоднозначна и опосредована множеством факторов — экономическим неравенством, институциональным доверием, историческими традициями. Но сам механизм — психика анимирует доступные ей холодные структуры — достаточно универсален, чтобы рассматривать его как одну из несущих опор объяснения. Модерн не убивает потребность в симбиозе. Он только лишает её привычных объектов и тем самым делает её менее управляемой.

Организационный материализм

Подведём промежуточный итог. Человек рождается в ситуации утраты симбиоза с матерью, когда привычная реальность утробы оборачивается предсказательной ошибкой мозга. Рождение впервые ставит организм в ситуацию, в которой выживание требует действия или бездействия, а вся жизнь определяется базовым стремлением к контролю над обстоятельствами жизни.

Зазор между моделью и реальностью порождает непрекращающееся напряжение. Это напряжение — не патология, а норма, конститутивное свойство человеческого существования. Без него не было бы мотивации к действию. Напряжение требует разрядки, а разрядка возможна только посредством действия или бездействия, направленных на сокращение зазора, то есть на установление контроля или возникновение его ощущения. Это стремление мы назвали волей к власти.

«Власть» здесь — не политологическая категория. Это не обязательно власть над другими людьми, хотя и это тоже. Это способность определять условия собственного существования, делать мир более предсказуемым, безопасным, отвечающим потребностям. Младенец, который научился дотягиваться до погремушки, осуществляет волю к власти, расширяя зону контроля. Крестьянин, возделывающий своё поле, осуществляет волю к власти, ибо он преобразует дикую природу в источник предсказуемого пропитания. Учёный, разгадывающий загадку природы, осуществляет волю к власти, переводя непонятное в понятное, хаос — в порядок, непредсказуемое — в предсказуемое. Тиран, завоёвывающий соседние земли и подчиняющий их население, тоже осуществляет волю к власти, но это лишь одна из её форм, и далеко не самая распространённая в повседневной жизни большинства людей.

Особого внимания заслуживает пассивная форма той же воли. Аскет, отказывающийся от имущества, дзен-монах в медитации, стоик, культивирующий безразличие к внешним обстоятельствам, — все они осуществляют волю к власти, но направляют её по противоположному вектору. Не расширение зоны контроля над миром, а сужение зависимости от него. Зазор между ожиданием и реальностью можно закрыть, переделав реальность, но можно и упразднить само ожидание. Это не капитуляция перед миром, а радикальная стратегия его нейтрализации. Пассивный контроль — не отсутствие воли к власти, а её особая форма.

Все эти действия — от самых простых до самых сложных — имеют общую структуру: они направлены на то, чтобы сократить разрыв между тем, «как должно быть» согласно базовой модели, и тем, «как есть» согласно текущему опыту. Они стремятся сделать мир хотя бы немного более похожим на материнскую утробу — не буквально, конечно, а функционально: более безопасным, более предсказуемым, более отзывчивым на потребности.

Мы подробно описали стратегию симбиозов как наилучшую для установления контроля. Она невероятно расширяет возможности человека. Копьё увеличивает длину руки. Лошадь увеличивает скорость передвижения. Язык и медиа раздвигают пределы мира, расширяя нервную систему.

Коллектив, в который включается человек, является самым ярким примером расширения его индивидуальных качеств и увеличения его возможностей. Человек способен устанавливать симбиотические связи не только с вещами и животными, но и с Другими и коллективами. И это укоренено в его нейрофизиологии.

Мы постарались детально рассмотреть естественно-научные вопросы, чтобы не оставаться на уровне интуиций и метафор. Мозг был описан как предиктивная машина, находящаяся в постоянном режиме сравнения своей модели реальности с поступающей в него информацией о внешнем мире. Нейрохимические процессы обеспечивают обработку информации,

система эмоций — реакции тела. Такова модель человека как атома социального мира. Он приходит в мир с волей к власти.

Рождение социального мира

Другой человек имеет собственные цели, и они могут совпадать с моими — тогда кооперация естественна и выгодна обоим. Но цели могут и не совпадать, и тогда мы становимся конкурентами в борьбе за ограниченный ресурс. Другой вообще может оказаться потенциальным агрессором. Разногласие неизбежно. В этом заключается фундаментальная амбивалентность социального существования. Другой одновременно является ресурсом и угрозой. Как люди решают проблему Другого? Как превращают потенциальную угрозу в ресурс? Как координируют действия множества волей, каждая из которых хочет своего? Проблему Другого люди решают с помощью институционализации неформальных связей и создания институтов.

Эпизоды взаимодействия превращаются в паттерн. Случайность становится регулярностью. Взаимодействие оформляется в отношение — устойчивую связь, которая сохраняется между конкретными встречами и определяет характер будущих взаимодействий. Появляется группа со своими правилами, ролями, общей памятью. Новичок, присоединяясь к ней, застаёт всё это уже готовым. Он не участвовал в выработке правил, но обязан им следовать, если хочет остаться в группе. Правило становится традицией, традиция — надындивидуальной реальностью, которая воспроизводится независимо от желаний и понимания отдельных людей. Это и есть институционализация — процесс, в ходе которого созданное людьми обретает независимое существование.

Социальный мир реален в своих последствиях. Институты определяют, что возможно, а что запрещено. Позиции дают власть или отнимают её. С социальным миром нужно считаться так же, как с физическим, хотя природа этой реальности качественно иная.

Одни институты позволяют координировать действия десятка людей — и только. Другие способны связать тысячи, затем миллионы, затем целые цивилизации. Разница между ними заключается в том, насколько масштабируемым оказывается предложенное решение и насколько далеко оно способно протянуть нить координации — в пространстве, во времени, поверх границ языка и крови.

Это различие — один из ключевых факторов, определяющих могущество обществ и их уязвимость. То, какие общества строят империи, а какие становятся их провинциями, зависит от множества переменных — экологических, демографических, технологических — и нередко от прихоти обстоятельств. Но масштабируемость координации занимает среди них особое место: она определяет, способно ли общество вообще реализовать свои ресурсы или они останутся нераскрытым потенциалом. Эту логику, опираясь на обширный сравнительно-исторический материал, систематически разработал Майкл Манн, ставший классиком исторической социологии.

Манн прочитал тысячи исторических книг, написал несколько томов, деконструировал понятие общества и реконструировал его заново — и в конечном счёте сделал обманчиво простой вывод: историю двигают организационные технологии. Не идеи сами по себе, не классовая борьба, не геополитика и не способ производства, а способы координации людей. Кто сумел организовать больше людей на большей территории с большей интенсивностью и на более долгий срок, тот и определяет облик эпохи.

Идеи или производственные отношения важны в той мере, в какой они воплощены в организационных формах. Идея равенства перед Богом стала исторической силой не в момент своего высказывания, а когда Церковь превратила её в иерархию, канон и дисциплину. Классовый интерес стал движущей силой революции не в момент осознания, а когда породил партию. Поэтому манновский ответ на вопрос «что движет историей?» точнее формулировать не как замену прежних объяснений, а как указание на тот уровень, где они обретают силу: не идея

и не класс сами по себе, а способность организовать людей вокруг идеи или экономического интереса.

Эта модель движущих сил истории вполне материалистична, потому что в её центре не сознание, а инфраструктура. Дороги, по которым движутся армии и товары. Логистика снабжения, без которой ни одна империя не протянет дольше нескольких месяцев. Бухгалтерский учёт, позволяющий торговцу в Генуе отслеживать должников в Антверпене. Плотный строй римского легиона, превративший крестьян в непобедимую машину. Церковная иерархия, связавшая Ирландию с Сирией общей верой и общей организацией. Кредитные инструменты, позволившие венецианским банкирам финансировать крестовые походы. Всё это — конкретные способы заставить множество людей действовать согласованно.

Но за каждым таким успехом стоят десятки организационных экспериментов, не доживших до учебников истории: империи с разветвлённой бюрократией, рассыпавшиеся прежде, чем успели набрать инерцию; военные новшества, потерпевшие поражение не из-за худшей организации, а из-за особенностей рельефа или климата. Это не обесценивает примеры, но напоминает, что организационная мощь является необходимым, но не всегда достаточным условием. Перечисленные решения сработали в том числе потому, что встретили подходящие обстоятельства. Тезис «историю двигают организационные технологии» означает, что победило то, что организовало людей эффективнее.

Экономический материализм Маркса поместил двигатель истории в производство. Организационные технологии возникают во всех четырёх сетях власти манновской модели — идеологической, экономической, военной и политической. Церковь — такая же организационная технология, как рынок. Монастырский устав бенедиктинцев⁸¹ с его жёстким распорядком дня, разделением труда и письменной отчётностью был организационным шедевром задолго до того, как те же принципы применил промышленный капитализм. Монголы при Угэдэе⁸² создали систему почтовых станций — ямов⁸³, связавшую пространство от Пекина до Будапешта быстрее любой торговой сети. Организационная мощь не привязана к одному источнику.

История вследствие этого приобретает кумулятивный характер, но без заранее заданной цели. Организационные изобретения накапливаются. Письменность, деньги, бюрократия, однажды появившись, не исчезают. Исчезло линейное письмо Б⁸⁴, схлопнулась денежная экономика в постримской Европе, но однажды решённая задача решается повторно, и письменность и деньги возникают вновь. Каждое следующее поколение наследует организационный инструментарий предыдущего и надстраивает его.

Вектор этого накопления не предрешён. Никто не планировал возникновения капитализма из средневековых торговых республик. Никто не предвидел, что порох лишит рыцарскую кавалерию военного смысла. Инструменты множатся, но карта будущего не нарисована заранее.

Редкие моменты, когда социальная динамика резко ускоряется, Манн именует «эпизодами»⁸⁵ — моментами, когда новая организационная технология резко увеличивает чью-либо способность контролировать людей и территории. Фламандские пехотинцы при Куртре⁸⁶ в 1302 году, остановившие цвет французского рыцарства, продемонстрировали военную новинку — плотный строй дисциплинированной пехоты — и показали, что бюргерская общинная организация способна произвести военную силу, способную конкурировать с феодальной. Это был организационный прорыв, и его последствия вышли далеко за пределы одного сражения.

Наконец, Манн ввёл понятие интерстициального возникновения⁸⁷ — появления нового в промежутках между существующими структурами. Новые организационные технологии рождаются не в центре доминирующих институтов, а на их периферии, в зонах, до которых эти

институты не дотягиваются. Буржуазия возникла в порах феодального общества. Раннее христианство организовалось в городских кварталах ремесленников, к которым римская администрация не проявляла особого внимания. Интернет вырос из академических сетей, которые ни одна корпорация не считала коммерчески значимыми. Периферия — лаборатория организационных инноваций, потому что там давление существующих структур слабее.

Но, чтобы двигаться дальше, нужно задать вопрос, который кажется элементарным. В чём специфика организационной проблемы в чистом виде?

У индивида организационной проблемы нет. Она решена биологически. Мозг принимает решение, нервная система передаёт сигнал, мышцы исполняют. Одно тело, одна воля, один центр управления. Когда тянешься за чашкой кофе, не нужно убеждать свою руку в том, что это хорошая идея.

Но как только два человека решают действовать вместе — нести бревно, охотиться, обрабатывать поле, — немедленно возникает вопрос: как из двух волей сделать одно действие? У пары, несущей бревно, нет общего мозга, который решал бы, когда повернуть, когда опустить его. Нет общей нервной системы. Есть два отдельных тела, каждое со своими ощущениями, каждое способное в любой момент бросить бревно и уйти. И тем не менее они несут его.

Масштабируйте эту ситуацию до десяти тысяч человек, строящих пирамиду, или до миллиона человек, платящих налоги, — и организационная проблема откроется во всей своей грандиозности. Коллективу нужно создать искусственный аналог того, что у индивида дано природой. Нужен «мозг» — кто-то, чьи сигналы признаются обязательными для остальных. Нужна «нервная система» — каналы, по которым решение доходит до исполнителей. Нужны исполнители, готовые действовать в соответствии с полученным сигналом, а не в соответствии со своим частным расчётом. Нужен какой-либо эквивалент единой воли — способ нейтрализовать конфликт между частными интересами и требованиями коллективного действия. Каждая организационная технология в истории — это конкретный ответ на этот набор вопросов.

Причём масштабирование не только воспроизводит ту же проблему, умноженную на число участников. С ростом масштаба возникают качественно новые трудности. Кто следит за теми, кто следит? Как решение, принятое наверху, доходит до нижних звеньев цепи, не исказившись? Как удержать от злоупотреблений тех, кому делегированы полномочия? Организационная проблема империи — не та же задача, которая стоит перед охотничьим отрядом, только в миллион раз сложнее. Это качественно другая задача, порождённая самим фактом превышения определённого порога сложности.

Здесь обнаруживается неустранимое противоречие, которое Манн зафиксировал метафорой «социальной клетки»⁸⁸ Потребности принадлежат индивиду, а не коллективу. Голод — мой, не наш. Страх — мой. Коллектив для индивида — средство удовлетворения этих потребностей, и только. Но, чтобы коллектив работал как средство, индивид должен подчиниться, отдать часть своей воли, принять чужие решения как свои. Средство требует жертвы от того, кому оно служит. Индивид входит в коллектив добровольно, чтобы стать сильнее, и обнаруживает себя в клетке, из которой не может выйти без потери того, что коллектив ему даёт. «Вход стоит рубль, выход — два», — гласит русская поговорка. Это не историческая случайность и не злой умысел правителей. Организационная проблема не решается без ограничения свободы тех, чью деятельность она организует.

Степень этого ограничения, впрочем, не задана заранее. Она сама является переменной, которую разные организационные технологии устанавливают по-разному. Каким должно быть это ограничение и каков его объём — вот один из главных вопросов, который история заново задаёт при каждом новом изобретении.

Организационная проблема фундаментальна, универсальна и неустранима. Она стоит перед любым коллективом — от семьи до империи. В разные эпохи она решается по-раз-

ному, но не снимается никогда. Разнообразие её решений — организационных технологий — и составляет, если верить Манну, подлинное содержание истории.

Основной закон социального мира

Из анализа воли к власти и механизмов социальной организации следует то, что можно назвать основным законом социального мира. Формулировка проста: индивид стремится получить от коллектива больше, чем отдать; коллектив стремится взять от индивида больше, чем отдать. Это не моральное суждение, а описание столкновения сил, действующих в любом обществе⁸⁹.

Первая часть напрямую вытекает из логики воли к власти. Отдать меньше — значит сохранить контроль над своим временем, силами и ресурсами. Получить больше — значит расширить контроль, приобрести ресурсы, защиту, возможности. Каждый индивид, действуя рационально, будет стремиться минимизировать вклад и максимизировать отдачу. Вторая часть требует уточнения. «Коллектив» — не субъект в буквальном смысле, у него нет сознания и воли. Но за ним стоят реальные люди — те, кто контролирует распределение и занимает командные позиции в иерархии. Разница между взятым и отданным — это их власть, богатство, привилегии. К этому добавляется нечто более безличное: сама структура, воспроизводящая себя, требует ресурсов на содержание аппарата, армии, инфраструктуры. Институт, однажды возникнув, стремится максимизировать приток ресурсов при минимизации отдачи — безо всякого злого умысла, просто в силу структурной инерции.

Этот конфликт неустраим. Нельзя создать общество, в котором каждый получает ровно столько, сколько отдаёт: часть неизбежно уходит на координацию. Нельзя создать общество, в котором все позиции равны: координация требует иерархии. Конфликт можно смягчить посредством легитимации, перераспределения и участия, но устранить его нельзя. Почему государства собирают налоги и содержат армии? Почему элиты держатся за власть? Почему утопические проекты терпят крах? Почему революции, свергающие одну элиту, порождают другую? Всё это — проявления структурного конфликта, заложенного в природе социальной организации.

Это утверждение нуждается не только в теоретическом обосновании, но и в проверке на реальном материале человеческих коллективов. Такую проверку провёл один из самых неудобных мыслителей XX века, причём провёл её не в архивах и библиотеках, а живя внутри самого масштабного социального эксперимента в истории.

Александр Зиновьев⁹⁰ был логиком по образованию. В социальный анализ он привнёс то, что логик привносит в любую область: безжалостное разделение между тем, каким общество должно быть согласно своим декларациям, и тем, каким оно неизбежно будет согласно своей механике. Советский строй оказался для него идеальным материалом — не потому, что был хуже других, а потому, что попытался рационально организовать решительно всё и тем самым обнажил механизмы, которые в других обществах скрыты стихией рынка, традицией или индивидуализмом. Когда всё регламентировано, всё видно.

Советская власть выслала его за сатирическую энциклопедию коммунальной жизни — «Зияющие высоты». Западная публика приняла его как антисоветского диссидента, а он тут же принялся с той же язвительностью препарировать западное общество. Либералы записали его в реакционеры, патриоты — в русофобы, марксисты — в ренегаты, антимарксисты — в скрытые коммунисты. Это симптоматично, хотя само по себе не доказывает правоты метода: можно быть одинаково неудобным для всех и при этом одинаково ошибаться. Показательнее другое: его предсказания о поведении советских институтов подтверждались наблюдениями других исследователей, работавших независимо и с иных позиций. Когда изучаешь не идеологии, а устройство коллективов, то, что обнаруживается, не нравится никому, потому что не щадит никого.

Главное понятие в его анализе — коммунальность. У Зиновьева это не коммунизм и не коммуна, хотя советская коммунальная квартира, пожалуй, является лучшей иллюстрацией его идеи. Коммунальность — совокупность закономерностей поведения, неизбежно возникающих всюду, где люди образуют коллектив и вынуждены действовать совместно. Такие закономерности возникают не только в Советском Союзе и не только при социализме.

Основной социальный закон, сформулированный нами выше, принадлежит Зиновьеву. Человек в коллективе тянет на себя не потому, что он эгоист. Он ведёт себя так, потому что иначе не может, пока остаётся существом с собственными потребностями, собственным телом, собственной конечной жизнью. Закон симметричен: коллектив тянет в свою сторону, стараясь взять у индивида больше, чем отдать ему. Взаимоотношения коллектива и индивида напоминают отношения банка и вкладчика, причём каждая из сторон убеждена, что другая остаётся в выигрыше.

Конкретные механизмы этого перетягивания Зиновьев назвал законами коммунальности. Первый — закон выравнивания: коллектив подтягивает выделяющихся к среднему уровню и сверху, и снизу. Слишком успешного одёргивают; слишком ленивого подтягивают, но ровно настолько, чтобы он не выделялся. Советский афоризм «инициатива наказуема» — лаконичная формулировка этого закона. Второй — закон самосохранения коллектива: он сопротивляется любым изменениям, угрожающим его существованию или сложившемуся распределению позиций. Реформатор в коллективе — враг, даже если реформы объективно полезны, потому что любая реформа перераспределяет власть и статус, а те, кто рискует потерять, сопротивляются яростнее тех, кто может приобрести. Третий — закон управления: в любом коллективе выделяются управляющие, и первая их забота — не цели коллектива, а собственное положение. Начальник заботится о подчинённых ровно настолько, насколько это требуется для сохранения его позиции, а иногда значительно меньше.

Эти закономерности Зиновьев не выводил ни из экономики, ни из классовой структуры, ни из культуры, ни из национального характера. Он считал их первичными. Русская деревенская община и японская корпорация, советское министерство и американский университет подчиняются одним и тем же законам коммунальности. Различаются декорации, масштабы, а также степень, в которой эти законы уравновешены другими силами. Сами законы остаются одними и теми же, потому что их источник — не устройство конкретного общества, а устройство человека.

Традиционная теория организаций исходит из допущения, что организация создаётся ради определённой цели, а поведение участников в основном направлено на её достижение. Отклонения — оппортунизм, безбилетничество⁹¹, саботаж — считаются патологией, которую можно лечить правильными стимулами. Зиновьев эту логику переворачивает. Патология становится нормой. Индивид в коллективе по умолчанию занят не достижением коллективных целей, а устройством собственной жизни внутри коллектива.

Коллективные цели достигаются в полной мере тогда, когда организационная технология сконструирована так, что индивидуальное стремление «тянуть на себя» трансформируется в продуктивный коллективный результат, или тогда, когда достаточно мощная общая идентичность либо ситуация кризиса временно подавляет это стремление. Второй механизм реален, но неустойчив: история не знает коллективов, живущих в состоянии постоянного мобилизационного подъёма. Поэтому конструкция стимулов остаётся ключевой переменной: она определяет, насколько долго и надёжно коллектив способен функционировать без чрезвычайного напряжения воли своих членов.

Советский Союз был грандиозным экспериментом, доказавшим правоту Зиновьева. Социалистическая идеология предполагала, что с устранением частной собственности и эксплуатации люди начнут трудиться ради общего блага. Новый человек, *homo sovieticus*⁹², должен был преодолеть эгоизм и превратиться в сознательного строителя коммунизма. Получился

другой homo — человек, виртуозно приспособившийся к жизни в коллективе, научившийся извлекать максимум из системы при минимуме реального вклада, освоивший искусство имитации деятельности, круговой поруки и социальной мимикрии. И не потому, что советские люди были хуже других, а потому, что организационная система, не учитывающая законов коммуналности, неизбежно производит именно такое поведение. Стимулы были устроены так, что рациональным оказывалось тянуть на себя, имитировать, приспособливаться.

Здесь обнаруживается удивительное совпадение. Зиновьев, работавший в советской традиции и писавший по-русски, пришёл к постановке проблемы, совпадающей с той, к которой с другого конца подошёл Майкл Манн. Оба отвергли «общество» как полезную аналитическую категорию. Оба поставили в центр анализа организацию — конкретные способы координации людей. Оба увидели, что власть возникает не из чьего-либо злого умысла, а из механики совместного действия. Кооперация неизбежно порождает иерархию, а из этой асимметрии вырастает контроль одних над другими. Оба, наконец, обнаружили неустранимое противоречие между индивидом и коллективом — то самое, что Манн называл «социальной клеткой», а Зиновьев описывал при помощи законов коммуналности.

Различие между ними существенно и продуктивно. Манн — историк, работающий с большими длительностями: тысячелетиями, цивилизациями, империями. Его организационные технологии — легионы, церкви, рынки, бюрократии. Зиновьев — наблюдатель повседневности, работающий с отделом, кафедрой, лабораторией, очередью за колбасой. Его организационные закономерности — интриги, коалиции, подсиживание, круговая порука, ритуальное единодушие. Манн показывает, какие организационные формы побеждают в историческом масштабе. Зиновьев показывает, что происходит внутри любой из этих форм на уровне повседневного взаимодействия. Они не противоречат друг другу. Их соединение обещает картину более полную, чем та, которую может дать каждый из них порознь.

Русскому читателю, выросшему в советской или постсоветской реальности, законы коммуналности знакомы не из книг, а из жизни. Всякий, кто работал в каком-либо российском учреждении, знает одну простую вещь: формальная структура — одно, реальная жизнь организации — совсем другое. На вопросы о том, кто на самом деле принимает решения и как на самом деле распределяются ресурсы, ответа не найти ни в одном штатном расписании. Но этот повседневный опыт — не досадная российская специфика, которую следует преодолеть по мере «модернизации». Это проявление универсальных закономерностей, одинаково работающих и в токийском офисе, и в брюссельской комиссии, и в гарвардском департаменте.

Поэтому введение в организационную проблематику для русского читателя естественно начинать не с Гоббса⁹³ и не с Вебера, а с Зиновьева. Не потому, что он «наш», а потому, что он описал ту сторону организационной реальности, которую западная теория систематически недооценивала, — сторону индивида, живущего внутри организации и ведущего с ней непрерывную, по большей части тихую, но никогда не прекращающуюся войну за собственное существование. Эта война — не аномалия. Она и есть суть дела. Любая теория организации, не принимающая её в расчёт, описывает не реальный мир, а архитектурный чертёж здания, в котором никто не живёт.

Воля к власти индивида создаёт социальный мир. Социальный мир ограничивает эту индивидуальную волю к власти в пользу собственной. Это противоречие не снимается мировой историей. Оно воспроизводится в каждом коллективе — от семьи до империи — с той же неотвратимостью, с какой камень падает вниз.

Воля к власти: переопределение понятия

Всё, что до сих пор трактовалось как стремление к контролю над обстоятельствами жизни, к уменьшению зазора между моделью и реальностью, мы обозначили термином «воля к власти». Этот оборот неизбежно вызывает ассоциации с Фридрихом Ницше, с чем-то аморальным, связанным с культом силы и презрением к слабым. В популярной культуре эти слова стали синонимом жажды доминирования, стремления растоптать конкурентов. Отторжение концепта воли к власти берётся, впрочем, не столько из философии Ницше, сколько из вторичного культурного слоя — нацистской мифологии, маскулинных культов силы⁹⁴.

Эти ассоциации создают эмоциональное сопротивление, заставляют либо отвергать термин с порога, либо принимать его вместе со всем багажом искажений и злоупотреблений. Прежде чем двигаться дальше, необходимо расчистить пространство смысла: объяснить, что именно мы имеем в виду под волей к власти, как это соотносится с тем, что писал Ницше, чем наше понимание отличается от его и почему, несмотря на все риски непонимания, стоит использовать именно этот термин, а не изобретать новый, более нейтральный.

Два способа властвовать

Мы предпринимаем дерзкую попытку вступить в клинч со стереотипами культуры и морали, опираясь на зыбкий фундамент концепта «воли к власти». К этой воле неприменима бинарная оценка «хороша/плоха». Наличие воли к власти — это не хорошо и не плохо, оно просто есть. Не бывает людей, лишённых воли к власти. Её можно измерять тем или иным образом, говорить о силе проявления или эффективности, но полностью лишён воли к власти только труп. Жизнь и есть работа этой воли.

Что касается силы её проявления, то это скорее оценка таланта и способности, чем «активности/пассивности». Эта бинарная оппозиция лишь смазывает картину. Иначе мы всегда будем считать доктрину Христа пассивной стратегией, хотя пророк был более чем активен в проявлении воли к власти над ветхим миром. У читателя возникает законный вопрос: почему учение Христа — активная стратегия? Ведь он призывал подставлять другую щёку. Однако же Христос переопределял фундаментальные категории морального мира — грех, закон, справедливость — и тем самым менял рамку, в которой этот мир существовал.

Мы отказываемся от оценочной пары «активное/пассивное» и оставляем в качестве описательной пару «внешний и внутренний векторы». Если дальше по тексту будут встречаться слова «пассивная стратегия», их нужно понимать в этом техническом смысле — без той моральной нагрузки, которой наделяет их европейская традиция.

Воля, если и может оцениваться, то только по результату: насколько она достигла цели и насколько чужая воля с ней конфликтует.

Ницше доводит логику оппозиций до болезненного предела. Мораль рабов — это мораль тех, кто не может изменить мир и потому переописывает своё бессилие как добродетель. Христианское смирение, буддийский уход, стоическое безразличие — всё это для Ницше ресентимент, реванш слабых, объявивших собственную неспособность к действию высшей ценностью. Он не только противопоставляет активность приспособлению — он дискредитирует приспособление как форму самообмана. Он дискредитирует положение раба, но никакое рабство, даже сознательное, не означает безволия.

Живой раб может, согласно китайской поговорке, сидя на берегу реки жизни, увидеть проплывающий мимо труп героя. Дальше начинаются самооправдания, идеологические обоснования собственной позиции. Раб расскажет, как он был хитёр и изворотлив и обманул мир, а герой — каким ярким и самоотверженным он был, не подчинившись миру.

За этими двумя самоописаниями стоит одно и то же. Внутренний контроль — не отсутствие воли к власти, а её особая форма. Чтобы это увидеть, имеет смысл взять у Ницше термин и отнять у него содержание. Ницше клеймил приспособление как слабость, как мораль рабов, а у нас приспособление оказывается такой же стратегией контроля, просто работающей иначе: оно сужает личную зависимость от мира вместо расширения зоны воздействия на мир. Это переосмысление Ницше: термин сохраняется, элитистский обертон снимается, механизм универсализируется. И хитрый раб, и буйный революционер движимы равнозначной энергией адаптации, с чем трудно согласиться нам, воспитанным на монологе Гамлета.

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель

Желанная? Скончаться. Сном забыться.

Уснуть... и видеть сны?

Гамлет формулирует дилемму так, что грамматика вступает в противоречие с смыслом. «Быть» означает сносить пращи и стрелы яростной судьбы, продолжая жить и терпеть. «Не быть» — ополчиться на море бед и покончить с ними, покончив с собственной жизнью. Второй вариант выражен языком активного действия, но ведёт не к преобразованию мира, а к уходу из него. Первый описан как пассивное претерпевание, хотя именно он требует продолжительного сопротивления страданию. Одно оформлено в страдательном залоге, другое — в действительном, но моральная и волевая иерархия между ними оказывается далеко не очевидной.

У Шекспира оба варианта трагичны, оба величественны, но сама форма постановки вопроса уже содержит приговор: приспособление описано как пассивное претерпевание, а активное восстание — как действие. Одно — страдательный залог, другое — действительный. Грамматика подсказывает иерархию раньше, чем этика успевает её оформить.

Эта грамматика — не случайность Шекспира. Она пронизывает нашу европейскую интеллектуальную традицию. Прометей против Зевса. Фауст против покоя. Ницшевский сверхчеловек против «последнего человека». Революционер против обывателя. Каждый раз активное восстание маркируется как подлинное человеческое измерение, приспособление — как уступка, слабость, утрата себя. Даже когда традиция принимает приспособление, она принимает его в форме стоической героизации — как особый подвиг воли, преодолевающей естественное желание бунтовать. Приспособление оправдано, только если его удаётся переописать как скрытое действие.

Обе стратегии реализуют один и тот же механизм, решают одну и ту же задачу, движимы одной и той же силой. Разница между ними — не в наличии или отсутствии воли, а в векторе её приложения.

Революционер говорит: мир не таков, каким должен быть, — я изменю мир. Аскет говорит: мир не таков, каким должен быть, — я изменю свои ожидания относительно мира. Оба сокращают зазор между моделью и реальностью. Оба осуществляют контроль над условиями своего существования. Просто один контролирует внешнее, другой — внутреннее. У одного вектор направлен наружу, у другого — внутрь. С точки зрения нейрофизиологического механизма — работы предиктивного мозга, минимизирующего ошибку предсказания, — это симметричные операции.

И тогда «хитрый раб» Эзопа, крепостной, переживший помещика, дзен-монах, сидящий в медитации, стойк, культивирующий безразличие к внешнему, христианский отшельник в пустыне — все они не слабее революционера, бунтаря, завоевателя. Они иначе устроили свою волю к власти. Их вектор направлен внутрь, а не наружу. Их стратегия — сужение зависимости, а не расширение влияния. Но это стратегия, а не её отсутствие. Это действие, а не претерпевание, хотя европейская грамматика настаивает на обратном.

Это трудно принять, потому что мы с детства воспитаны в советской и постсоветской парадигме, в которой активное маркировано как подлинное. Западная литература, западная философия, западная этика — также пронизаны такой оценкой. Дон Кихот нелеп, но велик; Санчо Панса трезв, но комичен. Герой трагедии сопротивляется судьбе и гибнет; хор наблюдает и переживает. Фаустовская душа мечется, обывательская — дремлет. В каждом случае активный полюс получает моральное и эстетическое преимущество, даже если на него обрушивается катастрофа.

Наш ход, будем надеяться, ломает эту парадигму не в форме контратаки — «на самом деле Санчо лучше Дон Кихота», — а посредством снятия иерархии. Оба персонажа представляют разные стратегии одного и того же стремления к контролю. Дон Кихот пытается переделывать мир под свои книги, Санчо — переделать свои ожидания под мир. Их механизмы симметричны. Различие заключается в векторе, а не в наличии воли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.